

Татьяна Столбова

ПОСЛЕДСТВИЯ

1

В начале мая на опушке леса, рядом с малинником, нашли труп местного врача Ильи Сергеевича Десятникова. Пропал Илья Сергеевич еще в среду, а обезображенное до неузнаваемости тело его старик Евсеев с внуком обнаружили ранним утром в пятницу, когда отправились в лес за листом брусники. Лицо Десятникова, как и волосяная часть головы надо лбом, было сплошным кровавым месивом, к моменту обнаружения трупа уже подсохшим. Обычный костюм доктора — коротковатый серый пиджак и темно-синие джинсы — также был сильно подран. Очки с толстыми стеклами, сломанные ровно посередине, валялись на траве, у неестественно вывернутой правой ноги.

Новость распространилась по деревне Покрово еще до полудня. Разнес ее не Евсеев, конечно, мрачный и неразговорчивый человек, а внук его Петька. Тот в свои двенадцать был единственным учеником пятого класса единственной в Покрово восьмилетки, поэтому на урок физкультуры ходил со старшими ребятами. Им-то он и рассказал, что Илью Сергеича задрал медведь. А уже они в перемену достали мобильные телефоны и позвонили родителям и знакомым. Старик Евсеев в то же время сунул кашу в печь, а потом надел выходную клетчатую рубаху и дошел до участка, где сообщил ему ту же информацию. Добавил только, что давно пора было пристрелить мишку, а то ведь шатун, большой и дикий, люди и без того боялись нос сунуть в лес, а теперь и подавно туда никого калачом не заманишь.

Пристрелить медведя и правда собирались уже не однажды. Первым и главным охотником считался егерь Федор Лобанов, да только он в прошлом году скончался — не по-егерски, а как-то домашнему, от сердца. Шел по лесу и упал. И все. После него никого назначать на эту должность не стали. Охотились в лесу всего четверо из всей деревни, а пришлых в округе не было уже много лет.

Покрово отстояла от других населенных пунктов достаточно далеко, от ближайшего — на двенадцать километров. Но у тех и свой лес был, так что до покровского никто из чужаков никогда не добирался. Говорили, в царское время скрывалось там немало беглецов, да что это были за люди и от чего бежали — никто не знал. А из четверых охотников деревни Покрово ни один не отважился бы выйти на медведя. Постреливали белку, зайца, что-то из дичи, но крупного зверя не добывали никогда. Бахвалились только — мол, пойдем и с первого выстрела потапыча уложим. Но никуда не ходили. «Измельчал охотник, — сказал Евсеев, сам сроду не нацеливший ружья на живое существо, — да и все остальное измельчало тоже». С этим участковый согласился.

Его, как и всех остальных жителей Покрово, известие о гибели доктора поразило и опечалило. Десятников хоть и жил в деревне всего пять лет, успел помочь многим: кому рану продезинфицировать и бинтом замотать, кому швы наложить, а кому и жизнь спасти.

Мать-одиночка Верка Пахомова на похоронах рыдала громче всех, ведь Илья Сергеевич вытащил с того света не только ее саму, а и ненаглядного Кольку, сыночка, которого она стала рожать вдруг ни с того ни с сего на восьмом месяце, в сарае, куда зашла за лопатой, чтобы вскопать огород. Крики ее, доносящиеся из сарая, услышала соседка. Забежала, глянула одним глазком и дунула прочь, сразу за Десятниковым. Тот только-только тогда с ночной смены в больнице домой вернулся и сел завтракать. Сумку свою докторскую схватил и ринулся вслед за Веркиной соседкой.

А Верка, хоть и прошло всего минут двадцать, уже корчилась от дикой боли, хваталась за всякие железяки, глаза выпучивала, кричала в голос, когда горло не перехватывало, а когда перехватывало, рычала и определенно помирала. Крови под ней и вокруг к моменту появления доктора натекло уже небольшое озерцо. Ну, как после рассказывала Верка, кому небольшое, а мне — вся жизнь моя. В этих булькающих красных пузырях видела она сквозь пелену на глазах смерть, которую никак не ожидала в свои двадцать пять, и было совершенно ясно, что это и есть все, отмеренное ей природой ее или кем-то свыше, тогда она не могла об этом размышлять, а позже не хотела. Сквозь ту же пелену она увидела лицо Десятникова, склонившегося над ней, худое доброе лицо с маленькой чеховской бородкой, глаза его серые, слишком большие за увеличивающими линзами

очков. Услышала его голос: «Сейчас, Веруня, потерпи немного, сейчас...» И больше ничего не увидела и не услышала. Или, вернее, не запомнила, потому что соседка говорила, что орала исправно и глаза на нее и на Десятникова таращила словно безумная.

Коленьку доктор через час вытащил, как тряпочку, безжизненно-го, белого, в кровавых ошметках. Сколько-то минут занимался им, по словам соседки — сам весь измочаленный, пальцами давил и давил на крошечную Коленькину грудку, а потом вдруг писк, и на тебе — ожил младенец. На радость матери. А отцу уже было не порадоваться — за полгода до рождения мальчика он погиб, сорвавшись с крыши, куда полез, чтобы поправить телевизионную антенну.

Кроме Верки были и еще люди в деревне, обязанные Десятникову жизнью — своей или близких. Потому что принимал он не только в районной больнице, но и на дому, никому никогда не отказывал и никто, ни разу никто не слышал от него неправильного или неприветливого слова.

Так что похороны вышли знатные, последний раз с такими почестями хоронили только священника отца Дионисия, умершего десять лет назад. Вся деревня, все двести с лишком человек, включая детей, прошли по главной улице в траурной процессии, а потом в церкви и на кладбище отстояли сколько положено и на поминки во двор дома доктора, где накрыли длинный стол, явились тоже все.

Затем справили девятый день. А вскоре сын Евсеева, живущий отдельно от родных по причине дурного нрава, устроил в кафе драку с поножовщиной. Позвонили участковому, тот приехал и увез буяна в каталажку. И вот уже гибель Десятникова отошла на второй план — все говорили о происшествии в кафе. Только, может быть, Верка на пересуды о дураке Евсееве-среднем не тратила мысли и слова, горевала о докторе. И двухлетний Колька, глядя на мать, горевал тоже, сидя в своей кровати и грызя маленькими зубками размоченную в чае сушку.

•

Максим Буров, учитель школы № 2 (раньше в Покрово было две школы, но в конце девяностых школу № 1 закрыли), тоже думал о Десятникове. Во время драки в кафе пострадал его ученик, самый старший из покровских ребят, Мирослав Белкин. Будь Десятников

жив, дело не вышло бы за пределы деревни, он сам заштопал бы Мирославу бок, а уж мужики разобрались бы с Евсеевым-средним. Но Десятникова больше не было, а у парнишки кровь лилась ручьем, и лицо побелело, так что вызвали скорую из района и участкового, а заодно учителя. Мирослава увезли в больницу, Буров поехал с ним. И вот теперь он сидел на стуле в палате, смотрел в окно на бесконечное голубое небо и думал о том, что с Десятниковым в этом мире кончилось что-то важное. Мысль причиняла ему боль. Он знал ее причину, знал ее исток, и от этого знания боль становилась еще острее.

Мирослав рассказал ему, что пришел в кафе, чтобы отдать отцу забытый им дома мобильный телефон, на который беспрерывно названивали с работы, и в этот момент Евсеев завопил и выхватил финку, бросился на двух парней-трактористов, те вскочили — у одного в руках вилка, у другого столовый нож, — началась драка. Мирослав попытался обойти их, но тут Евсеев, как раз только что получивший вилочное ранение в плечо, отпрыгнул и не глядя махнул финкой, случайно полоснув парня по боку.

Рана оказалась неопасной. Поэтому тем же вечером Буров отправил домой родителей Мирослава — болезненную мать и отца, расстроенного до слез, которые он пытался выдать за слезы злости. Но это был страх за сына, а еще чувство вины, Буров понимал. Злость свою Белкин выплеснул в участке, когда требовал пустить его к Евсееву на пять минут, а участковый отказывал. «Надо было там, в кафешке, навалить этой скотине, — сквозь зубы говорил Белкин в больничном коридоре, — да от сына не отойти было...» До приезда скорой он обеими ладонями зажимал кровоточащую рану в боку Мирослава, красный от напряжения и ужаса. А потом, когда парня погрузили в скорую, кинулся на Евсеева и пока его оттаскивали, машина с Мирославом и учителем на борту умчалась в ночь.

«Вот и хорошо, что не навалил, — ответил Буров. — За самосуд посадить могли бы, на пару с Евсеевым». Белкин помотал головой, не уверенный в том, что хулигана посадят. Того уже не раз судили, но давали почему-то условно, он возвращался в деревню и через некоторое время снова начинал куролесить. Отец не мог вразумить его, никто не мог — таким уж он уродился. И всегда, все его тридцать девять лет, за исключением, может быть, первых шести-семи неразумных, от него были одни проблемы.

Буров понимал сомнения Белкина, поэтому больше ничего говорить не стал.

— Максим Иваныч, — позвал Мирослав тихим голосом.

Буров обернулся. Парень выглядел лучше, чем накануне вечером, но все еще был очень бледный.

— Больно? — спросил Буров.

— Нет. А родители где?

— К обеду приедут. Я их отослал вчера. Отец после суток, ему отоспаться надо. Ну, а мама... Сам понимаешь.

— Ей лучше вообще дома остаться. У нее сердце больное. Где мой мобильник? Я позвоню, пусть он один приедет.

— Я сам позвоню. Отдыхай.

Буров встал, легонько, одними пальцами, похлопал Мирослава по плечу и вышел из палаты, на ходу доставая телефон.



Было воскресенье, единственный на неделе свободный день Максима Ивановича Бурова, учителя «всего», как иногда называли его в деревне. Он и в самом деле вел в школе несколько предметов — историю, географию, обществознание и физкультуру, причем для всех классов. В школе было двадцать семь учеников. Из них в пятом и седьмом классах — по одному, в остальных — от двух до восьми.

Раньше в воскресенье Буров вел еще кружок «Сделай сам», но месяц назад учительница русского и литературы Наталья Васильевна, приятная женщина лет шестидесяти, предложила организовать «клуб творческой мысли» и вызвалась вести его. Для двух внеклассных занятий не хватало ни времени, ни желания учеников. Поэтому «Сделай сам» следовало снять.

Буров был только за. Он проводил в школе каждый день с половины восьмого утра до половины восьмого вечера, кроме субботы, когда уходил домой в пять, плюс еще полтора часа в воскресенье. Он устал. Тем более что за три года его учительства всевозможных поделок накопилось столько, что в большом кабинете труда уже не хватало места, и часть — самую лучшую, естественно — выставили в холл. Да и у детей в последнее время интерес угасал. Едва ли не половину занятия не делали, а говорили. Это тоже было важно, Буров

очень ценил такие беседы и все же чувствовал — ребятам уже хотелось поскорее домой или на улицу, что понятно: погода стояла хорошая, ясная, сухая, в самый раз для прогулок.

Он думал, кружок Натальи Васильевны школьники будут пропускать, но нет, ходили. Обсуждали книги, фильмы, новости из интернета.

Так у Бурова образовался настоящий выходной. Правда, ему оставалась от него лишь небольшая часть — вечер. Именно тогда он мог расслабиться по-настоящему, что в его нынешней жизни означало включить торшер, взять плед и лечь с книгой на диван. Часам к двенадцати ночи он обычно задремывал, около двух просыпался, вставал, умывался, чистил зубы и ложился спать, как положено. А до того — ночь с субботы на воскресенье, затем утро и день — он обычно проводил у Валентины.

Ей было сорок, на восемь лет меньше, чем ему. Ее сыну Саше в марте исполнилось одиннадцать. Он ходил в четвертый класс — самый многочисленный в школе, в нем было восемь учеников. Саша по объему знаний и общему развитию годился скорее в первый, но это была простая деревенская школа, никто не придирался, никто не выяснял уровень детей. И все же Буров, как мог, старался подтянуть мальчика, чтобы он не скучал на уроках и чтобы в будущем, когда детская невинность пройдет и наступит подростковая жесткость, ему не пришлось бы страдать. Пока что никаких проблем в отношении детей в школе не существовало. Но ведь и подростков было всего несколько человек. Шестнадцатилетнего Мирослава можно было уже не считать. С осени он переходил в старшую школу, которая находилась в Дубосеково, поселке городского типа, расположенном недалеко от райцентра.

С Валентиной Буров сошелся в первый же месяц после переезда в Покрово. Трехкомнатный дом на самом краю деревни, недалеко от леса, он купил заочно, за сущие копейки, у наследника умершего старого учителя. Два дня обустроивался, делал мелкий ремонт, мыл полы и окна, а на третий пришла она. Статная, в теле, на лицо обычная, во взгляде темных глаз искра вызова, никогда не угасающая, как Буров понял потом. Оглядела его высокую крепкую фигуру с ног до головы. Измерила взглядом ширину плеч. Спросила: «Помочь?» Буров вообще-то ожидал, что деревенские проявят больше любопытства к приезжему, но Валентина была первой, кто пришел

на него посмотреть. «Да, — ответил он, — если нетрудно, сварите картошки». Она сварила. Сходила к себе и принесла к обеду еще сливочного масла и зелени. Пришла и на следующий день, принесла клеенку на стол. А еще через несколько дней явилась на ночь глядя с бутылкой самодельного вина из черноплодки, с порога заявив: «У тебя останусь, Максим. Суббота, хочется праздника и любви». Буров не возражал.

Как и почти треть жителей Покрово, Валентина работала в райцентре на ЦБК — целлюлозно-бумажном комбинате. По утрам вместе со всеми штурмовала автобус, по вечерам в той же компании возвращалась домой.

Выйдя на крыльцо больницы, Буров набрал номер Валентины. Она была немногословна, он тоже, так что разговор вышел коротким. Он сказал, что дождется родителей Мирослава и приедет. Валентина ответила: «Ладно». Нажав отбой, Максим сунул мобильник в карман, облокотился о деревянные перила.

День был солнечный, тихий. На другой стороне улицы, возле беленого двухэтажного здания районной администрации, в тени одинокого тополя стояли и о чем-то беседовали две молодые мамы с колясками. У ног одной из них смирно сидела белая кудлатая собачонка. Чуть дальше из-за ряда елей выглядывал голубой купол небольшой церкви; золото креста ослепительно сверкало, осиянное солнечным лучом. В сторону шоссе на средней скорости ехал старый, годов восьмидесятых, темный запыленный мерседес. Навстречу ему так же неспешно двигались несколько машин, подпрыгивая на ухабах. Движение на дороге здесь всегда было довольно спокойное, а в воскресенье тем более.

Медленно вдыхая теплый, с едва ощутимым запахом пыли воздух, Буров всматривался вдаль, туда, где небо было покрыто грядками белых кучевых облаков.

За три года он ни разу не пожалел, что уехал из Москвы. Здесь, в провинциальном покое, в простоте и просторе, он понял, что нашел свое место и уже не покинет его.

Таких приезжих, как он, в деревне Покрово было человек пятнадцать. Большинство перебрались из своих городов еще в девяностых и начале двухтысячных. Цели были все благородные — поднимать деревню, начать новую жизнь. Получилось разве что, с новой жизнью. А работали почти все в райцентре. Однако постепенно, год за годом,

налаживалось и сельское хозяйство. Свекла, картофель выращивались уже в таких объемах, что шли на продажу. Имелось и пшеничное поле — гордость Вани Гурина, агронома, который после окончания института честно, как и обещал родителям, вернулся в Покрово.

До Вани поле было заброшено, отдельные участки его использовались деревенскими под личные посевы, в основном — картошки. Молодой агроном, вернувшись домой, в первый же месяц с помощью участкового навел порядок. Непокорных приструнили, поле расчистили, а когда пришло время, засеяли. Больше никто не роптал — многие, сиднем просидевшие не один год в своих избах, получили наконец работу. Ваню стали называть Иваном Михалычем. А поле, пусть небольшое, но свое, покровское, в начале осени принесло первый урожай.

— Максим Иваныч!

Занятый своими мыслями, Буров не услышал, как подъехала «лада» Белкиных. Взволнованные, бледные, они приблизились к нему. Белкин-старший обеими руками прижимал к животу большой полиэтиленовый пакет, набитый доверху.

— А вы зачем приехали, Анна Ефремовна? — спросил Буров, глядя на невысокую худенькую женщину с большими тревожными глазами. — Я же сказал, с Мирославом все будет в порядке, завтра его уже выпишут.

— Слава Богу! — проговорила она. — Да я как же, Максим Иваныч, как же я дома останусь, когда сын раненый лежит в больнице? Мне спокойнее рядом с ним быть...

Она хотела добавить что-то еще, но говорить ей было тяжело — мучила одышка. Буров улыбнулся ей.

— Идите к нему. Он ждет.

Белкины синхронно кивнули и вошли в здание больницы.

•

После бани Валентина, как обычно, накрыла на стол. Ужинали втроем, почти не разговаривая. Из комнаты едва слышно доносился звук работающего телевизора.

Саша, исподлобья поглядывая на мать, ковырялся в пюре, которое не любил. Валентина не реагировала. У нее было твердое правило для сына: «Чистая тарелка — можно встать из-за стола». Оба

знали, что так и будет. Поэтому Саша поелозил ложкой по тарелке еще несколько минут, затем решительно нахмурил брови и принялся заталкивать пюре в рот.

— Что, Саша, уроки сделал? — спросил его Буров.

Саша кивнул.

— Тогда после ужина пойдем почитаем.

Саша снова кивнул. На Бурова он при этом не посмотрел ни разу. Это ничего не значило. Сашин взгляд редко можно было уловить — он был или устремлен внутрь, или блуждал по сторонам, не останавливаясь на одушевленных объектах.

Отец его, тихий алкоголик, живший под каблуком Валентины, умер от цирроза семь лет назад. Он ничего не дал сыну, кроме, по-видимому, черно-белой депрессивной картины быта. Судя по рассказам Валентины, муж всегда только пил, официально нигде не работал вследствие инвалидности, по дому ничего не делал. А умер — как будто стерли ластиком целую жизнь. Ни сожалений, ни воспоминаний, ни печали. После этого человека остались лишь сын и древние «жигули», ржавеющие под навесом во дворе. Саша никогда не говорил об отце и, как утверждала Валентина, даже будучи малым, проходил мимо него, как мимо мебели, а будь тот не из плоти, а из облака, прошел бы сквозь. Отец относился к нему так же.

На школьных переменах и на улице Саша вел себя побойчее, чем на уроках и дома. Друзей не имел, чаще всего бродил один или бегал туда-сюда, швырял камни в ручей, протекающий в ста метрах от школы, в него же плевал и из него же пил, когда хотел пить.

Буров разработал для Саши специальную коррекционную программу, по которой и собирался позаниматься с ним сейчас. Она включала в себя чтение и рисование, а также счет, для чего были изготовлены из картона разноцветные фигурки животных и предметов.

— Так, — сказал Буров, обозревая единственную книжную полку в Сашиной комнате. Все эти книги он знал чуть не наизусть, все были перечитаны многократно, но не тут — дома, когда-то давно, в той жизни, что кончилась так внезапно; все были перевезены им в его деревенский дом из московской квартиры, а потом сюда — в крошечную комнатку этого мальчика, чужого настолько, что иногда хотелось просто встать и уйти навсегда. — Сказку или приключения?

Саша коротко передернул плечами. Ему было все равно.

— Приключения, — решил Буров.



Ночью, лежа рядом с тихо посапывающей Валентиной, он думал: что же делать? План, разработанный так тщательно, с учетом всех деталей, мог рухнуть в любой момент. Причем именно из-за одной-единственной детали, которая изначально была целиком и полностью отдана на волю небес, ибо не поддавалась корректировке земными силами.

Сегодня днем он опять звонил и опять получил тот же ответ: «Пока никак». И даже на вопрос «Когда?» ему не сказали ничего определенного. Он нажал отбой и еще долго сидел в своем старом малиновом форде, купленном у соседа уже здесь, в Покрово, вскоре после приезда. Он видел, как из больницы вышел Белкин, устремился по дороге направо — в магазин, а потом видел, как тот вернулся с коричневым бумажным пакетом, на котором просматривался логотип местной пекарни. Он видел, как по той же дороге проехал на черном внедорожнике хирург Варенец, коллега Десятникова и его антагонист; как прошли мимо две школьницы лет по тринадцати, с сигаретами в руках; а потом видел, как потемнело небо — стремительно и полностью — и пошел дождь, крупными каплями яростно забарабанил по крыше машины и по лобовому стеклу, но вскоре кончился, небо опять просветлело, поголубело, солнце засияло, словно и не было этого неожиданного катаклизма или был он нечаянным природой и уже ею забытым. Все это Буров видел, но думал при этом о своем, насущном. И только когда позвонила Валентина с просьбой купить по пути печенья к чаю, он очнулся от раздумий, посмотрел вокруг — тихо, ясно, прекрасно, — завел форд и поехал.

«Что же делать?» — снова подумал Буров, но развить мысль не успел — со второго этажа раздался Сашин вопль, взрезавший ночную тишь. Буров вскочил и помчался наверх. За ним — он не видел, но слышал, — охнув, встала и побежала Валентина.

Саша в пижаме стоял у распахнутой двери своей комнаты. Он уже не орал, а лишь молча, замороженно смотрел на огонь, полыхавший на его кровати. Горело одеяло и что-то еще, поначалу Буров не разглядел. Он схватил Сашу за плечи, развернул к себе, наклонился.

— Ты цел?! — крикнул он. — Где больно?!

Саша помотал головой. Буров мягко втолкнул его в руки подошедшей Валентины и ринулся в комнату. Там уже было полно дыма.

Огонь потрескивал, расплескивая искры по всему шестиметровому помещению.

Буров, закрыв рот и нос ладонью, схватил подушку и начал колотить ею по языкам пламени. Рядом возникла Валентина. С криком «Господи, помоги!» она кинула на постель кусок брезента. «Вот и пригодился», — мелькнула у Максима ненужная в этот момент мысль — брезент валялся в закутке у Сашиной двери года два, положенный туда на время, после ремонта крыши.

Отбросив подушку, Буров вместе с Валентиной прижал брезент к кровати, побил ладонями сверху.

Через минуту, тяжело дыша и кашляя, оба уселись на край, он у изголовья, она у изножья, посмотрели друг на друга. Валентина хотела что-то сказать, но приступ кашля не позволил ей вымолвить ни слова. Буров встал, взял ее за руку и вывел из комнаты.

Позже он рассмотрел, что там горело на Сашином лежбище. Нашел остов дешевой зажигалки, переплет книги, уже непонятно, какой, и необыкновенным образом уцелевший уголок фотографии. Кто на ней был изображен — Буров не знал, а выяснил лишь через несколько дней. Сказал ему сам Саша, не добровольно, конечно, а лишь отвечая на вопрос: «А что за фотография-то была, Саша?» Он буркнул: «Моя». Буров понимающе кивнул, но оказалось — ничего не понял. «А кто на ней был?» (Хотелось знать все же, чтобы понимать, что беспокоит парня, если уж вздумал он сжечь фото). «Я», — ответил Саша, глядя в сторону.

Так что в следующее воскресенье Буров сел в лодку, одолженную на одно утро школьным сторожем, Сашу усадил на нос, под скамью сунул мешок со снедью и термосом, и оттолкнулся веслом от берега.



На островок, куда они приплыли спустя полчаса, претендовали и Покрово, и Пронькино. Был он грибным местом, а еще обладал красивейшим леском, как на картинке, ровной полосой пляжа с южной стороны и холмом, с которого был обзор во все стороны и вид открывался чудесный.

Проньковские вообще-то зарились на островок без весомых оснований. Располагались они от него много дальше, часах в полутора, если плыть на обычной лодке с веслами, и делать им тут было нечего.

Тем более у них на реке были свои красоты. Не то что у покровских — река Рытва в их части была бурной, дурной, словно добежала до склона, за которым начиналось Покрово, там сходила с ума по неизвестной причине, а спустя несколько километров делала поворот и успокаивалась. Лес на берегу был редкий, частично поваленный сильными ветрами. Береговая почва глинистая, неровная. На рыбалку поэтому ездили или подальше, вверх по реке, или сюда, на островок.

Буров и Саша расположились на невысоком берегу, приготовили удочки.

Было еще довольно рано, около семи утра. Солнце уже светило, но пока еще не жгучим своим светом, а мягким, нежным, озаряя все небо, ярко-голубое, с редкими белыми облачками.

Саша сходу поймал плотвичку, потом сразу вторую. Он был доволен, хоть и молчал, крепко сжимая губы; на бледных щеках его проступил румянец.

Буров сидел с удочкой, смотрел на воду, по которой время от времени пробегала легкая рябь, снова думал о своем. Но теперь к прежним мыслям добавились новые — вечером ожидался столичный гость, и следовало к его прибытию привести в порядок комнату на чердаке. Максим уже достал матрас и отнес его наверх, но больше ничего сделать не успел — старый друг, Антон Григорьев, позвонил накануне вечером уже после десяти. Пока поговорили, пока дошел от дома Валентины до своего, было уже одиннадцать. Поэтому остальные приготовления он отложил на потом.

Разговор с другом состоялся не бытовой, обычный, а с долей таинственности. Антон просил на время приютить его сына Павла, у которого возникли разные неприятности и он хотел уехать подальше и от Москвы, и от всего, что было хоть каким-то образом связано с его повседневной жизнью. Короче говоря, если Буров правильно понял суть, Павел был в депрессии.

Антон упомянул проблемы сына на работе — а работал тот в адвокатской конторе, судя по расположению (в историческом центре столицы) вполне уважаемой, — а кроме того, его проблемы в отношениях с невестой. «И с нами говорить не хочет, — сказал Антон. — Попросил только тебе позвонить, мол, дядя Максим уехал в глушь и я хочу туда же. Перезагрузка ему нужна, вот такое дело».

Буров помнил Павла ладным сероглазым семнадцатилетним парнишкой. Сейчас ему было двадцать пять. Что он собирался делать

в деревне? Каким способом он хотел здесь обнулиться? Бродя по округе? Лежа в саду на раскладушке?

— Окунь, — прошептал Саша, подтягивая к себе леску, на конце которой трепыхался маленький красноперый окунек.

— Ну, молодец, — похвалил Буров. — Сколько у тебя уже? Пять? На уху вам с мамой хватит.

Саша мимолетно улыбнулся, бросил рыбку в пластиковое ведро. На дне его слабо пошевеливались серебристые рыбки тушки, каждая не больше буровской ладони.

— Нет, уже шесть, — сказал Максим. — А ты знатный рыбак, Александр. Я вон до сих пор ни одной не поймал.

И в этот момент поплавок его удочки дернулся раз, другой. Клюнуло.



На неделе состоялся разговор с Валентиной о том пожаре, устроенном Сашей в комнате. Валентина, выслушав рассуждения Бурова о сожженной фотографии, его выводы решительно отмела. По ее мнению, ничего этот факт не значил, ну сжег фотку и сжег, а то, что собственную — так значит, взял, какая под руку попалась. Тем более, что целью его могла быть и не фотография, а книга. Сгорели-то обе.

Возможно, она была права. А возможно, прав был Буров. Спрашивали Сашу — он молчал. Приходила Бурову мысль, что мальчик сам не знал, зачем он все это сделал. Но в любом случае что-то было не так.

Сегодня, на рыбалке и после нее, за завтраком на берегу, потом в лодке, а потом в машине, Саша выглядел умиротворенным и совершенно обычным. Он сидел на заднем сиденье, ведро с уловом стояло на полу меж его ног, обутых в большие резиновые сапоги. Буров бросил в ведро и свою добычу — три рыбешки. И теперь Саша то и дело наклонялся и, не трогая, всматривался в сонное шевеление на дне. На вопрос, будет ли он есть уху, кивнул. На предложение съездить на рыбалку еще раз, ничего не ответил.

Отвезя его домой, Буров сразу поехал к себе. Лишнего постельного белья для гостя у него не было, но он решил дать ему пока что свое сменное, а потом купить новое. Остальное все имелось — односпальная кровать с проволочной сеткой, узкий шкаф, сундук, два стула и маленький стол. Все это осталось от прежнего хозяина дома,

старого учителя, и стояло в маленькой комнатке на втором этаже, на чердаке.

Комнатка была вполне уютная, теплая, с небольшим окном, выходящим на лес. Буров по приезду сам хотел здесь обосноваться, но кухня все же была на первом этаже, как и туалет, и все прочее, и он обустроил для себя другую комнату — двенадцатиметровую, в трех шагах от входной двери. Окно ее смотрело прямо во двор, на дорожку, ведущую от крыльца к воротам и калитке; видны были также две груши, что росли у самого забора, ряд кустов малины и клумба с астрами. И это тоже осталось от того хозяина. Буров за три года посадил во дворе лишь яблоньку, и то потому только, что предложил сосед, у которого оказался лишний саженец.

Дома Буров взял ведро, тряпку и пошел наверх, мыть комнату к приезду гостя. Из головы у него все не выходил Саша и, пока делал уборку, все думал о нем, в конце концов придя к мысли, что права Валентина, а он все усложнил. Затем снова вспомнил про план и его самое уязвимое место, но уже успокоил себя тем, что время есть, надо просто ждать.

В пять вечера позвонил Антон. Он сообщил, что сын выехал еще ночью, так что должен приехать в Покрово около десяти. Павел, однако, приехал раньше — едва лишь минуло восемь. Буров только-только заварил чай с травами, только-только сел за стол, как с улицы послышался шорох шин, а потом раздался короткий сигнал клаксона.

Буров глянул в окно — поверх забора видна была только белая крыша какой-то иномарки — и пошел открывать ворота.



В юности Павел был спокойным, не болтливый и не нудным парнем. По первому впечатлению — таким и остался. Но — Буров это сразу почувствовал — что-то беспокоило его, что-то ему мешало. Спрашивать не стал. Сам расскажет, если захочет. Провел в дом, показал комнату, накрыл на стол.

Пока ужинали, говорили о разном незначущем. Мельком проскочило, что Павел уволился из своей адвокатской конторы, но по какой причине — он не сказал.

Потом, когда гость отправился наверх, спать, Буров еще с полчаса сидел у окна, за которым давно было темным-темно, думал о про-

блемах своего плана. Вдруг решил сходить в лес, уже поднялся было, но понял по тяжести в ногах, что все-таки устал, снова сел и еще несколько минут бездумно смотрел в вечернюю тьму.

Ночью он долго лежал без сна. Слышал, как Павел спускался со второго этажа в туалет, заходил на кухню, пил воду. Слышал уханье совы — далеко, из лесу, а стало светать — начали петь соловьи. Какое-то время лениво перегавкивались собаки. Затем ненадолго все стихло — до полной, глубокой, всеобъемлющей тишины. В эти минуты почему-то казалось, что все вечно и неизменно, ничто не может разрушить мир, устроенный так ладно, так правильно. Но обязательно тут же вспоминалось свое, непоправимое, и несправедливость, которая напрочь перечеркивала фальшивую идеальность этого мира, и тогда начинало казаться, что достаточно одного неверного слова или движения, чтобы все рухнуло. Обычные мысли, ничего нового. Максим часто думал об этом, и именно так, никогда иначе.

Утром он встал пораньше, просмотрел свои записи по темам уроков. Пора было снова вливаться в привычное течение жизни.

2

Павел проснулся около девяти. Вспомнил, что ночью снились незнакомые женщины цыганского вида, предлагающие ему купить песок для насыпи, которую он будто бы намеревался соорудить вокруг своего дома в Москве. Во сне все это казалось необыкновенно важным, Павел волновался и боялся, что денег на песок не хватит. А сейчас лишь усмехнулся: насыпь не поможет. Тем более из песка. Стену бы... Каменную стену, толщиной метра в два...

Закинув руки за голову, он некоторое время глядел в потолок, дощатый, некрашенный. Бессмысленные мысли. И сам он — случайный в этом мире. Впрочем, как и каждое живое существо. Но общность с другими не приносила успокоения. Уже не первый месяц Павлу казалось, что он лишнее звено в длинной закрученной цепи, ошибка, брак, и возможно, ему следует самоудалиться. За день до того, как в голову пришла идея пожить в деревне у Максима Иваныча, он даже написал в поисковой строке интернета: «Купить пистолет». Представил: пуля в висок, и все. Но открылись сайты по продаже-покупке травматтики, а это было совсем неинтересно. Тогда же

пришла более здравая мысль: хотел бы покончить с собой, не искал бы книжных красотостей, а сделал бы петлю или вышел из окна. И затем еще более здравая: а мать? А отец? Что тогда с ними будет? Единственный сын — чтоб тебя, Паша Григорьев, совсем ополоумел?

Вздыхнув, Павел сел на кровати. Скрипнули пружины. В маленьком зеркальце, прикрепленном кем-то на противоположной стене, отразился русский вихор.

В доме было тихо. Домашних животных Максим Иванович не держал, сам давно ушел на работу. Павел открыл дверь своей комнаты — она тоже тихонько скрипнула — и вышел на небольшую площадку перед лестницей, ведущей вниз. «Не хоромы», — подумал он, уже второй раз, а первый был вчера, когда только вошел в дом. «Ну и хорошо», — такой была следующая мысль.

На завтрак он съел два вареных яйца и бутерброд с колбасой, видимо, самодельной, деревенской, потому что такой вкусной никогда, кажется, не пробовал. Выпил две чашки травяного чая, душистого, хоть и заваренного вчера. Подумав, отломил кусок пряника, съел. Встал из-за стола, помыл за собой посуду, потом, снова сначала подумав, съел оставшийся обломок пряника. Достал из пакета еще один пряник и положил в карман.

И только тогда понял, что впервые за долгое время не знает, что делать. Пройтись по деревне? Позвонить родителям? Вернуться в кровать? Он выбрал последнее. Завалился с ноутбуком, открыл свою страницу соцсети. Несколько непрочитанных сообщений, новости, видео, фотографии... Все это было слишком скучно и слишком знакомо. Здесь, казалось ему сейчас, он в стороне от прежнего существования, он в другом мире. Здесь все должно быть иначе. И сам он изменится здесь.

Он не стал читать сообщения. Вышел из соцсети, закрыл ноутбук. Полежал еще минут пять, размышляя о своей внезапно сломавшейся жизни. Затем взял куртку и пошел гулять.



После урока физкультуры румяные и веселые шестиклассники прибежали на урок истории. По расписанию он предназначался для седьмого класса, но, поскольку в седьмом был лишь один ученик — четырнадцатилетний Никита Красников, а у младших до литературы

было окно, Буров пускал и их. Тем более что уроки эти скорее напоминали его прежние лекции в университете — он говорил, они слушали, а самые усердные записывали.

Примерно через четверть часа после начала урока Максим заметил, что не снял кроссовки. В них он вел физкультуру. Решил переобуться потом. Но слегка царапнуло, что забыл — впервые за эти три года. Поначалу мелькнула мысль про возраст, но он тут же отмел ее, как банальную и, в целом, неверную. Забыл просто потому, что голова была занята не тем. Все утро и последующие часы, уже в школе, вновь и вновь возвращался к тому изъяну в плане. Изъяну, из-за которого безупречный план превращался в «почти безупречный», а это все-таки было плохо, опасно. Прежде думал — все сложится как надо, но теперь начал сомневаться. Дров в этот тлеющий пока костерок сомнения подбросил и приезд Павла, человека постороннего. Помешать Бурову он никак не мог, но отвлечь — запросто.

Тут Сережа Беляк поднял руку, и Буров, на несколько секунд погрузившийся в паузу в своем рассказе, очнулся, кивнул мальчику.

— Да, Сережа?

— Максим Иванович, а я гильзу нашел!

Ту же фразу Буров слышал здесь от детей уже не раз.

— Ну, показывай, — сказал он, улыбнувшись, и Сережа вскочил, кинулся к его столу, на ходу доставая из кармана гильзу, завернутую в несвежий носовой платок.

До войны Покрово было небольшой деревушкой, где староверы без особого дружелюбия, но вполне мирно уживались с атеистами. После войны на этом месте не осталось в живых никого. Вновь Покрово возродилось лишь в начале пятидесятых. И с тех пор дети каждого поколения время от времени находили в земле артефакты далекой войны.

— Немецкая, — бросив скучающий взгляд на гильзу, проговорил Никита.

Он сидел на первой парте, прямо перед столом учителя.

— Верно.

— А у меня есть немецкий крест! — выкрикнул Равиль. Он был как раз из семьи переехавших в Покрово москвичей и родился уже здесь.

— Кресты у всех есть, — пренебрежительно сказал Коля Кочетков, сын участкового. — Вот я в том году штык-нож нашел!

— А я каску! — вступила в разговор Даша Нечаева.

Буров улыбался, слушая, как разгоряченные дети спорят, чья находка лучше. На несколько минут он забыл и про план, и про своего гостя. У него возникла идея сделать в школе выставку детских трофеев военных времен, предложить ученикам придумать историю каждой вещи, а потом, на уроках, поговорить о войне.

— Вот что я вам скажу, — начал Буров, и ребята замолчали, глядя на него с надеждой. Он всегда предлагал что-то интересное, выходящее за рамки обыденности. И Буров предложил.

Позже, возвращаясь домой, он подумал, что идея эта была хороша. А еще лучше то, что он отложил ее осуществление до нового учебного года. Не до выставки ему было сейчас. И еще приезд Павла...

Буров остановился перед поворотом, поразмыслил и вернулся к магазину — небольшому каменному одноэтажному зданию, где царствовала продавщица Зоя, подруга Валентины. Хлеб дома был, колбаса тоже. А все остальное закончилось. И Буров решил купить еще постного масла и курицу.



День за днем он упорно обдумывал свой план, надеясь найти приемлемое решение, но ничего путного в голову так и не пришло.

В четверг вечером у Валентины, куда он зашел по ее просьбе починить покосившуюся дверь сарая, за ужином внезапно Саша открыл рот. Бросив на Максима косой взгляд, он буркнул скороговоркой:

— На рыбалку.

— Хочешь на рыбалку?

Саша кивнул. На Бурова он уже не смотрел.

— Что ж, в воскресенье можем съездить. Не против, если захватим с собой моего гостя?

Саша не ответил.

— Как он? — спросила Бурова Валентина. — Оттаял?

— Пока нет.

— Деревенские говорят, ходит мрачный.

— Что-то случилось у него в Москве.

— Ничего, здесь отойдет. Воздухом нормальным подышит, не газом вашим отравленным. Еду нормальную поест... Забудет про свою несчастную любовь.

— Думаешь, в любви дело?

— Дело всегда в любви, — авторитетно ответила Валентина. — Без любви человек сохнет, это всякий знает. Вот я бы...

Она сделала паузу, во время которой положила ладонь на руку Бурова и посмотрела на него долгим взглядом.

— ...Вот я бы без тебя засохла, Максим...

— Сегодня не останусь, Валя, — покачав головой, сказал Буров. — К завтрашним урокам ничего еще не подготовил.

— Разок придешь неподготовленный, не развалятся твои дети.

— Я так не могу.

Валентина вздохнула, снова взялась за ложку.

— Ну хоть в субботу приходи не поздно. Ты Сашке обещал с «жигулем» повозиться.

— Помню.

Буров сомневался в том, что «жигули» усопшего мужа Валентины можно как-то реанимировать. Дело затевалось исключительно в рамках программы для Сашиного развития. Разобрать мотор, посмотреть, что из чего, куда и зачем, — все это было бы полезно для мальчика, в свои одиннадцать слегка застрявшего в младшем школьном возрасте.

Возвращаясь домой затемно, Максим думал о том, что несчастье, разделившее его жизнь на до и после, неожиданно вывело его на самый, может быть, правильный путь. На тот путь, который был созвучен его душевному устройству. В деревне ему было хорошо. Одиночество не тяготило. Он был востребован этим маленьким обществом и точно знал, что нужен здесь. Вероятно, даже необходим.

На скамейке под фонарем, скрючившись, сидел и дремал школьный сторож Степан Лукич. «Не дошел», — подумал Буров. Лукич жил в старом флигеле возле школы. Выпивал он редко, но всегда метко — в лучшем случае дотягивал до какой-нибудь лавочки и там засыпал, свесив голову, а чаще просто валялся на дороге.

Максим легонько потряс его за плечо.

— Лукич...

Лукич замычал, разлепил веки, сфокусировал на учителе мутный взгляд.

— Иди домой, Лукич. Ночью прохладно, замерзнешь тут.

— Да я, Максим Ваныч, на минуточку прикорнул... На минутку крохотную... — хрипло проговорил сторож.

— Проводить?

— Дойду-у...

Лукич тяжело поднялся, постоял, покачиваясь, и медленно двинулся в сторону школы.

Буров смотрел ему вслед.

Вдруг защемило сердце, да так, что на несколько секунд перехватило дыхание. Ощущение невероятности бытия потрясло Максима. Он существовал здесь и сейчас, но на мгновение словно вылетел из жизни, опустошенный, невесомый.

Он поднял голову. Небо темнело в вышине, усеянное звездами. Краешек луны был затянут туманной дымкой. Там все говорило о бесконечности, здесь — все утверждало обратное.

Максим постоял еще немного, приходя в себя. Освещенная фонарями улица была пустынна. Только косолапая фигура Лукича неспешно двигалась к воротам школы. Залаяла его собака. Услышав ее, гавкнула вдаль еще одна, ей ответила третья. Лукич вошел в школьный двор, закрыл за собой калитку.

«Все правильно, — подумал Буров, продолжая путь. — Все в жизни устроено правильно. И я все делаю правильно. А несправедливость...»

Эту мысль он заканчивать не стал. Не знал пока, как закончить.



На одиннадцатый день своего пребывания в Покрово Павел почувствовал, что начинает оживать. Он гулял по деревне, заходил в магазин, в церковь и на почту. С ним здоровались и, хотя большинство смотрели с любопытством, ничего не спрашивали. Только отец Акинфий, священник лет шестидесяти пяти, поинтересовался: надолго ли к нам? Павел в ответ улыбнулся и пожал плечами.

Все, что произошло в Москве, сейчас казалось ему далеким, словно пережитым в другой жизни. Утренний звонок отца нарушил это ощущение, но ненадолго. Сейчас, неторопливо переходя ручей через деревянный мостик, Павел подумал: «Вычеркнуть и забыть. И начать все сначала».

В малолюдности и тишине даже думалось лучше, яснее. Он (прежде чем вычеркнуть и забыть) прокрутил на скорости в голове московские события, в очередной раз уверился, что все сделал правиль-

но. Эта мысль утешала. А кроме нее утешить было нечему и некому. Боль, пережитая тогда, меньше не стала. Разве что утратила остроту, но жгла по-прежнему, теперь уже тлеющим углем, мучительно и неугасаемо.

Павел расстелил на пологом травянистом берегу ручья ветровку, предусмотрительно взятую с собой, сел. Было около полудня. Припекало. В светлых водах широкого, но мелкого ручья играли солнечные блики. Вдали темнела полоса леса. «Может, сходить за ягодами...» — подумал Павел. В детстве, бывало, ездил с родителями на дачу, и там они втроем совершали вылазки в лес, то за ягодами, то за грибами. Иногда к ним присоединялись соседские дети. От тех походов в памяти осталось лишь ощущение тишины, какой-то пронзительной, звенящей, запах грибов и сосен, далекое «Ау-у-у!...» и детский страх, основанный на рассказах местных: «... а из малинника выскочил медведь и задрал его...»

Павел усмехнулся. Все эти сельские байки для него, городского мальчишки, были смешны и страшны одновременно. Днем он вместе с родителями смеялся над очередной страшилкой, ночью, лежа на узком диванчике у окна, верил и боялся. «Любой страх меркнет при свете дня», — подумал он сейчас. Как здесь, в этом мирном месте, кажется не таким страшным то, что произошло с ним в Москве.

А, собственно, что такого произошло? Его жизнь сломалась, да. Но все живы. Он молод. Он скоро придет в себя, отрясет прах ветхий и недостойный от уд своих, встанет и пойдет дальше. Начнет все заново. Вот Максим Иваныч же начал все заново. И, судя по всему, устроился он тут неплохо. Павел видел издалека, как он идет по улице — крупный, статный, и жители Покрово все, как один, почтительно здороваются с ним.

Однажды, лет десять назад, отец попросил Павла передать Бурову сверток с воблой. Сам сидел на даче и рыбачил без устали, друг вырваться к нему никак не мог, так что рыбу повез Павел. Зашел в университет, держа в руке благоухающий пакет, в котором лежала завернутая в газету вобла, посмотрел расписание занятий. У Максима Иваныча был полный лекционный день. Но близился перерыв. Павел поднялся на второй этаж и встал у двери в аудиторию. Зычный голос Бурова описывал события польско-литовской интервенции начала XVII века. Он завораживал. Он заставлял вслушиваться в каждое слово.

Павел приоткрыл тяжелую дверь. Аудитория была полна. Слушатели не сводили с Бурова глаз. И пятнадцатилетний Павел, пресыщенный интересными уроками в своей престижной гимназии, был так же загипнотизирован. Там, перед студентами, стоял не дядя Максим, привычный, добродушный, немногословный, а профессор Буров, историк, преподаватель, известный на всю столицу. Закончив лекцию, он вышел, окруженный плотной толпой, увидел Павла и позвал его. Неожиданно смешавшись, Павел что-то проворчал себе под нос, сунул Бурову пакет с воблой, развернулся и побежал вниз по мраморной лестнице, перепрыгивая через две, а то и три ступени.

Это неожиданное воспоминание заставило Павла подкорректировать предыдущую мысль. Буров устроился тут неплохо, но какой же это был крутой поворот для него! И что значит здешнее «неплохо» по сравнению с тем, что он имел прежде?

Павел покачал головой. Все это было ужасно. Все, что произошло с Буровым. И пусть на вид он оставался все тем же — добродушным, сдержанным, однако внутри него явно потух тот огонь, что пылал когда-то...



Вечером, часов около шести, Павел снова отправился гулять. Но на сей раз он имел цель: зайти в кафе. Там, как он понял из случайно услышанных разговоров в магазине, часто по вечерам собирались компании: пили пиво, некоторые играли в карты — невинно, без денежных ставок.

Павел хотел пива. В прежней жизни он не очень любил его. Он, молодой орел, смотрел на все эти человеческие слабости свысока. Но последние события заставили его опуститься на землю, где он разглядел детали обычной жизни обычных людей. И возжелалось вдруг — может, даже не столько пива, сколько простоты существования. Влиться в эту обычную жизнь, стать таким, как все. Возжелалось общения, отвлеченного и обобщенного. С Буровым они, конечно, говорили ежевечерне и тоже на разные темы, не касающиеся их жизненных крахов, но Павел знал, что Буров знал. И Буров знал, что Павел знал... Пусть без подробностей, но они оба друг о друге знали.

А тут никто ничего не знал, так что можно было бы расслабиться и не бояться, что кто-либо посмотрит с жалостью или подозрением.

Так и получилось. Павел взял кружку пива, сел за столик у окна. Народу в кафе было совсем немного, человек семь. Позже подошли еще двое — сумрачный старик и крепкий невысокий мужчина лет сорока, с короткой стрижкой. Они взяли по чашке чая, сели за два столика от Павла и, он заметил, некоторое время поглядывали на него, о чем-то совещаясь. Старик отрицательно качал головой, хмурил брови. «Позовут», — подумал Павел. Но крепыш встал и подошел к нему, а старик остался на месте.

— Кочетков, Андрей Василич. Здешний участковый, — представился мужчина, протягивая руку.

— Павел Григорьев, — ответил Павел. Пожимая руку участкового, про себя он подумал, что сейчас ему, как чужаку, будут предлагать уехать отсюда. «Уноси ноги, пока цел». И руку на кольт... Этот сюжетный ход он не раз видел в американских фильмах.

— Добро пожаловать в наши пенаты, — улыбаясь, сказал Кочетков. Кольта у него явно не было.

Разговор завязался легкий и, как желалось, простой. Участковый оказался человеком деликатным, личных вопросов не задавал. Спрашивал про Москву, где был последний раз лет пятнадцать тому назад, про дороги, пробки и прочее, сам рассказывал про Покрово.

За окном темнело. На улице зажглись фонари.

Кочетков, одним глотком допив свой чай, тоже взял кружку пива. А вскоре к ним, по очередному приглашению, подсел-таки старик. Его звали Петр Григорьевич Евсеев.

Вот от этих двоих, примерно час спустя, Павел и узнал о гибели врача Десятникова.



Дом учителя стоял на отшибе, у леса. Между ним и остальной деревней располагались две ничейных обшарпанных развалюхи и большой сарай, на который претендовали три семьи, а потому он тоже пустовал и постепенно ветшал. Так что даже днем Буров почти не слышал звуков, обычных для любого населенного пункта — голосов, шума машин, а ночью в его обители наступало настоящее

царствие тишины, изредка нарушаемое стрекотом сверчков или уха-ньем совы.

Переехав в Покрово, Максим не сразу привык к ночному безмолвию. Часто просыпался, вслушивался в мирную тишь, ждал: вот-вот где-нибудь загрохочет, застучит, засвистит... Но кроме ветра ничто не свистело, а кроме грома ничто не грохотало. И постепенно Максим втянулся в эту тишину, стал частью ее, так же, как его собственный дом был встроен в нее, лишь изредка издавая протяжный, словно стон, тихий унылый скрип.

Было около часу ночи. Буров лежал без сна, в разнообразии медленных несущественных мыслей. Мог бы думать о другом, но не хотел. Все это «другое» он передумал уже многократно и сейчас желал покоя. Его все равно не было, он давно забыл, что такое душевный покой, однако приспособился как-то жить в своей тиши, в подобии безмятежности, лишь изредка проваливаясь в бездну воспоминаний, бездонную и страшную, как черная дыра.

Вскоре он услышал возню на кухне, клокотание закипающего чайника, понял, что гость его тоже не спит, встал. Чашка чая — вот что ему было нужно сейчас. И — переключиться с воспоминаний, терзающих душу.

Максим натянул домашние штаны и пошел на кухню.

За столом перед раскрытым ноутбуком сидел хмурый Павел. Буров посмотрел на него внимательно, спросил:

— Пряники будешь?

Павел кивнул.

Пока Буров доставал пряники, разливал чай по чашкам, Павел не сказал ни слова. И потом, откусив сразу половину пряника, молча начал жевать, уставившись во тьму за окном.

— Плохие новости? — спросил Максим, садясь к столу.

Павел пожал плечами.

— Последнее «прощай»... — ответил он после паузы. — От бывшей будущей жены. Кто его знает, плохие это новости или хорошие...

— Этого никто не знает лучше тебя.

— Судя по последним событиям, я лох, который ничего не понимает в жизни. Так что откуда мне знать?.. С работы выгнали, невеста бросила... А когда все против тебя, невольно начинаешь думать: а точно ли я прав? Может, правы они?

— И каков ответ?

— Я прав. Сто процентов, Максим Иванович, я прав, я белее снега в этой ситуации, а если это не так, то я вообще не хочу жить в этом мире. Можно, расскажу?

— Конечно, Паша, — сказал Буров.

Павел энергично кивнул.

— Дали мне вести одно дело... — начал он.

Дело было о намеренном отравлении поваром престижного ресторана одного из клиентов. Выглянув в зал, чтобы позвать запропастившегося куда-то официанта, повар увидел за одним из столиков человека, который несколько лет назад увел у него жену, а вскоре бросил ее. Женщина уже была беременна, причем непонятно, от повара или его соперника. На нервной почве она потеряла ребенка, затем попыталась покончить с собой и, в итоге сломленная и опустошенная, уехала к сестре на Камчатку.

Соперник (верный адвокатской этике Павел обозначил его для Булова как Д. В.) через пару дней после отравления оклемался и подал на повара в суд. Повар взял свои сбережения и пришел в адвокатское бюро.

Довольно быстро Павел установил, что: а) Д.В. занимает высокую должность, б) Д.В. знал, что бывший муж его любовницы работает поваром в этом ресторане, в) за несколько дней до происшествия фигуранты столкнулись на художественной выставке и там при свидетелях Д.В. повару угрожал.

— А почему он ему угрожал? — спросил Буров.

— Потому что повар хотел вернуть жену. А Д.В. тоже хотел ее вернуть. Женщина — редкая красавица. Но с очень тонкой душевной организацией. Говоря проще — она психически нестабильна.

— Ну, это не одно и то же...

— В ее случае — одно и то же.

— И ты решил, что Д.В. все это спланировал?

— Это стало понятно буквально через несколько дней. Он сам подсыпал отраву в свою еду, тщательно рассчитав дозу. И я даже мог это доказать! Но тут все повернулось самым неожиданным образом. Повар заявил, что блюдо отравил официант. Д.В. согласился с этой версией. И они дружно стали топить человека, который прежде вообще не фигурировал в этой истории.

— Д.В. заплатил повару?

Павел кивнул.

— Д.В. понял, что дело тухлое, и отвалил повару кучу денег. Поначалу они хотели пойти на мировую, но было поздно. Отравление же реальное... Д.В. в больнице лежал неделю. И они перевели стрелки на официанта. Пожилой мужик с больной старой матерью... Я, конечно, повару сразу сказал, что так не пойдет. Он вроде согласился, но... Дальше дело снова круто повернуло, и черт знает куда! Оказалось, что бывшей жене повара в Москве принадлежат две квартиры в центре. Ее наследство от деда. Пришло это наследство буквально за семь месяцев до случая в ресторане.

— Значит, Д.В. была нужна не женщина, а две ее квартиры?

— Именно так. Д.В. собирался жениться на ней. А поскольку, как мы уже знаем, психика у нее была слабая и уже расшатанная дальше некуда, он быстро бы наложил лапу на ее наследство.

— Повар, я полагаю, поступил бы так же.

— Конечно! Ведь она два года торчала на Камчатке, и он ею никак не интересовался! А тут вдруг чувства проснулись? Нет, господа присяжные, чувства повара к этому грязному делу не имели никакого отношения.

— То есть изначально один корыстолюбец хотел устранить другого...

— В точку. Я решил бороться. Вывести их на чистую воду. Но оказалось, что правда никому не нужна. Никому.

Павел покачал головой, несколько мгновений смотрел в заоконную мглу, потом перевел мрачный взгляд на Бурова.

— Никто меня не поддержал, кроме родителей. Стали угрожать, давить. Все. Мое начальство, повар, Д.В. со своими связями... Даже Илона, невеста... «Не буду жить с таким упертым...» Звонки странные начались. Машину мою подожгли. Сюда я на отцовской приехал... Я не мог отступить, Максим Иванович. Это же две сломанные жизни — официанта и женщины...

Павел помолчал.

— Только я все равно проиграл. И людей не спас, и себя погубил. Из бюро меня вышвырнули. Невеста перестала отвечать на звонки... И все вдруг остановилось. Вернее — пошло дальше, но без меня.

— А как же твои доказательства, что Д.В. сам себя отравил?

— У меня их на тот момент уже не было. Все материалы, которые я собрал по делу, пропали. Видеозаписи с камер ресторана в том числе. Вот скажите, Максим Иванович, как жить, если этот мир тебя не устраивает, а другого нет?

- Приспосабливаться?
- Вы спрашиваете или отвечаете?
- И то, и другое.

— Так-то и я могу... А я понять хочу: что мне делать? Мне в этой жизни правда нужна, без нее все теряет смысл.

- Все в твоих руках, Паша.
- Что? Это как?

Буров чуть улыбнулся, встал, сполоснул свою чашку. Павел молча смотрел на него, ожидая ответа.

Не дождался. Буров пожелал ему спокойной ночи и ушел к себе.



Разговор с Павлом разбередил душу, и Буров долго лежал без сна, глядя в потолок, как в бездну. Затем повернулся набок и, словно в ту же бездну, начал смотреть в ночь за окном. Немного света давала луна, но все равно было темно. Колыхались тени листвы. В тиши не было слышно никаких звуков кроме заунывного тихого скрипа старой груши в дальнем углу двора.

«В сущности, — подумал Буров, — куда ни повернись, везде будет бездна».

Он снова лег на спину, снова уставился в потолок, по которому бродили призрачные тени от занавески. Прошло восемь лет, но воспоминания о Кате причиняли такую же боль, как в первые дни после ее гибели. Завтра дочери исполнилось бы семнадцать. Какой она была бы сейчас?

Буров уже почти три месяца не доставал из ящика стола ее последнюю фотографию, сделанную для школьного альбома. Хорошенькая девочка с милой улыбкой, с ямочками на щеках, с короткими тугими светлыми косичками... Годами он вглядывался в эту фотографию, пока не понял, что уже забыл, как выглядела реальная Катя, как она смеялась, как дулась, как плакала, как говорила — голос ее забыл; в памяти каждый миг была лишь статичная Катя со школьной фотографии. И он перестал вглядываться в нее, убрал в ящик стола, позволив себе наконец погрузиться в воспоминания о дочери.

Этот период, самый последний, длящийся до сих пор, наложил ровно на его план, что вносило в ситуацию некий диссонанс.

Бурова это очень беспокоило, но изменить он ничего не мог и не хотел менять.



Он уснул лишь к утру, когда птицы запели и начало светать. В его коротком сне бежала по бескрайнему полю Катя, а он все никак не мог ее догнать. Знал, что где-то там есть опасное место, кричал дочке: «Стой!» — а она смеялась и бежала, бежала... И он, спотыкаясь и падая, бежал за ней, но расстояние между ними все увеличивалось, пока Катя не исчезла за горизонтом. Лишь ее смех по-прежнему звенел над полем.

И в школе, на уроках, последних перед началом летних каникул, Максим не мог отделаться от тягостного ощущения потери. Для него лично — глобальной, не поправимой ничем в этой жизни. Все вспоминались эпизоды из прошлого: он с женой выходит из роддома и в руках у него маленький сверток — их долгожданный ребенок; первые неуверенные шажки на крошечных ножках; голубые глазки, сияющие в ореоле клетчатого шерстяного шарфа, на который налип снег; тоненькие ручки, принимающие из его рук новый ранец, купленный для школы, и — первый раз в первый класс, тут уже память предлагала множество мелких эпизодов, включая Катюшкин радостный смех, когда пролетающая мимо машина окатила их троих водой из лужи. Хорошо еще — был сентябрь, чисто, и вода тоже чистая, не то что глубокой осенью, когда под ногами уже месиво... И что вспомнил про месиво? При чем тут это? Хотя...

Бурова передернуло. Об этом он думать не хотел.

Вечером он не пошел домой. Там его ждал Павел, с обычным ужином, который он повадился готовить ежедневно, а Максиму хотелось сегодня чего-то иного. День этот не годился для обыденности. Семнадцать лет назад в этот день родилась его дочь. И Буров направился в храм, к отцу Акинфию.

Метров за сто он остановился — так вдруг сделалось тяжело, что показалось, не сможет больше ступить и шагу. Постоял с минуту, держась за ствол дерева, затем прошел чуть вперед и присел на пень.

Храм стоял в отдалении от деревни, за полем, а потому никого рядом не было. Максим сидел и смотрел на видневшийся за кро-

нами деревьев позолоченный купол с крестом, совсем небольшой, скромный. Солнце, опускаясь к горизонту, освещало его последним розоватым светом. В тишине и безветрии слышались лишь стрекотание насекомых, скрип старых деревьев и вдалеке еще — птичье чирикание.

На несколько минут Буров замер то ли в блаженстве, то ли в отчаянии, прикрыл глаза. Прекрасный мир, который никогда больше не увидит его девочка. И он не хотел его видеть, раз так. Эта же мысль преследовала его в первый год после гибели Кати. Он даже начинал порой обдумывать, как это повернуть таким образом, чтобы не доставить никому неудобств и боли. Но что-то удержало его тогда. А потом он уже лишь изредка прибегал к этой идее, когда становилось совсем тяжело. Она была словно спасательный круг для него, утопающего в бесконечном своем горе.

Максим встал и медленно пошел к церкви.

Отец Акинфий недавно похоронил жену, двое взрослых детей уехали из деревни в областной центр, и батюшка куковал в одиночестве, с раннего утра и допоздна в храме, домой уходя только ночевать. Конечно, он и сейчас был здесь, возле икон. Ходил, шептал что-то, поправлял образа, и без того висящие идеально ровно.

— Максим Иванович, — негромко сказал отец Акинфий, завидев Бурова, и улыбнулся. Улыбка у него была светлая, вроде бы и невидимая почти в густоте недлинной, темной с проседью бороды, однако от нее расходились по его щекам ямочки, а от глаз — морщинки-лучики, и получалось, что батюшка умудрялся улыбкой своей озарить собеседника, подарить ему свет, которого не хватало, да если даже хватало, такой свет никому был не лишним. Улыбаться он никогда не жалел. Нрава был не то чтобы кроткого, а спокойного, мирного. Покрово вообще везло на священников. Что предыдущий, отец Дионисий, что этот, были открыты, тихи и добры.

Прихожан в последние годы стало значительно меньше, но батюшка никогда не жаловался. Если надо было, сам брал метелку и убирал в храме, сам ремонтировал крышу, сам звонил в колокол. Вот с последним, правда, у него была проблема — видимо, не обладал отец Акинфий хорошим слухом. Уж на что был всего один колокол, и то священник умудрялся где-то дважды ударить, хотя нужно было единожды, а где-то вовсе удар пропустить.

— Можно, я здесь побуду? — спросил Буров.

— Можно, можно... Садитесь на скамью. Вы как, Максим Иванович, одиночества желаете или компании? Если что, я уйти могу, у меня дома дел полно.

— Посидите со мной, отец Акинфий...

— Посижу...

Он присел рядом с Буровым на скамью у стены — деликатно, на небольшом расстоянии. На его добром лице отразилась печаль, и Буров, заметив это, чуть улыбнулся. Отец Акинфий явно почувствовал его настроение, а почувствовав, сам проникся тем же.

Некоторое время сидели молча. Затем отец Акинфий мягко спросил:

— Особенный день?

— Дочке моей сегодня семнадцать, — произнес Буров, не глядя на священника. Голос его отчего-то сел.

Чуткий батюшка не улыбнулся, не поздравил — молча ждал продолжения.

— Она погибла восемь лет назад. Машина ее сбила.

Отец Акинфий опустил голову, зашевелил губами, несколько раз перекрестился. Затем спросил:

— Что могу сделать для тебя?

— Позвоните немного, батюшка... — тихо проговорил Буров.

Отец Акинфий поднялся, положил большую ладонь на плечо Максима, постоял так пару мгновений, затем направился к маленькой двери, ведущей на колокольню.

Через несколько минут сверху раздались удары колокола. Негромкие, смазанные, сбивчивые. Всего их было девять — то ли случайно так вышло, то ли нарочно священник подсчитал годы, прожитые на свете Катей Буровой.

Максим глубоко вздохнул, сжал кулак. Там, в тепле своей ладони, он словно снова ощутил маленькую крепкую ручку дочери. С самого ее рождения он был уверен, что она найдет свой путь в этой жизни и пойдет по нему, не сворачивая. Характер у нее был твердый, а сердце мягкое. И наверняка жизнь ее была бы яркой, красивой. Но однажды один человек впервые в жизни напился и сел за руль. И все...

С колокольни спустился отец Акинфий. Буров встал, молча пожал ему руку и вышел из церкви.



После череды жарких дней в субботу утром пошел дождь.

Буров позавтракал один (Павел, как обычно, уже ушел) и до полудня занимался домашними делами, затем отправился к Валентине.

На обед она приготовила гречневую кашу в керамическом горшке, со сметанным соусом. К чаю Буров принес коробку зефира.

— Наконец-то с неба покапало, — сказала Валентина, наливая себе вторую чашку чая. — Слава те, Господи. А то как в Африке — жарища несусветная. Ты базилик-то посадил, Максим?

— Забыл, — ответил Буров.

— Ну, я дам тебе потом, я много посадила.

К двум часам дня дождь прекратился. Буров прервал свой неспешный разговор с Валентиной и позвал Сашу на улицу, во двор. Взяли ящик с инструментами. Буров открыл проржавевший капот «жигуленка».

— Так, Саша, — сказал он, — смотри сюда. Это у нас двигатель...

Он рассказывал, Саша молчал. Слушал или нет — понять было сложно. В один момент Буров, в очередной раз оторвавшись от разборки мотора и бросив взгляд на пустое Сашино лицо, осекся, вдруг почувствовав горькую жалость к этому маленькому человеку; наклонился, погладил по макушке запястьем, ибо руки были грязные, проговорил: «Ничего, Сашок, все еще будет хорошо». Саша не ответил. «Завтра на рыбалку, да? Возьмем нашего московского гостя, наловим карасей...» Саша не ответил.

Буров вновь склонился над мотором, продолжая рассказывать Саше, где какая деталь и зачем она нужна. Он был уверен — день за днем, шаг за шагом, но рано или поздно он достигнет до мальчика, вытащит его из глухого кокона, откроет ему мир.

«Вода камень точит», — мельком подумал Буров, выпрямился, вытер руки тряпкой.

— Каливал, — вдруг сказал Саша.

— Что?

— Каливал.

И Саша показал пальцем на коленвал, про который Буров рассказывал ему минут пять назад.

— Колен-вал, — произнес Буров и, присев на корточки, с улыбкой посмотрел на мальчика снизу вверх. — Молодец!

Саша в ответ не улыбнулся, но впервые не отвел взгляд, и Максим вдруг разглядел цвет его глаз — светло-серый.

Вечером позвонил Павел, сообщил, что не поедет на рыбалку. «Я лучше посплю», — сказал он. Буров немного удивился — Павел вставал довольно рано, — но уговаривать не стал.

В пять утра Саша уже тряс его за плечо. Как обычно — молча.

— Встаю, встаю... — пробормотал Буров, не открывая глаз.

...Через полчаса они вышли в утренний туман, постояли на крыльце, вдыхая пронзительно свежий, чуть пряный, влажноватый воздух. Было очень тихо.

— Прохладно сегодня. Хорошо, что дождя нет. Хотя маленький дождик нам бы не помешал, да, Саша?

— Ловись, рыбка, б-большая и маленькая, — запинаясь, выговорил Саша.

Буров негромко засмеялся.

3

— Да какой это медведь! — махнув рукой, сказал Лукич. — Брежут! Давно его в наших краях не было. Мне еще егерь наш, царствие небесное, Федор Захарыч, говорил: ушел мишка, а мож, браконьеры заезжие убили. Нет, Павлушка, тут другое что-то... Мож, сердце у доктора прихватило или в голове лопнуло, как у матери моей, — удар был, вот и помер, а уж после его зверюшки погрызли.

— Так, значит, да?.. — задумчиво произнес Павел.

— Ну, а как еще?

Лукич, прищурившись, посмотрел на Павла внимательным взглядом.

— А тебе чего в нашем Десятникове? А, Пал Антоныч?

— Да ничего, — очнувшись от своих мыслей, ответил Павел. — Просто делать мне тут нечего, Степан Лукич. А про доктора много хорошего слышал, вот и стало интересно: как он погиб? Что его в лес понесло? Грибник был?

— Какие тебе грибы в начале мая? Сморчки разве только. Да бывшие городские в них толку не ведают. Им боровики подавай, подбerezовики всякие... Не, не грибник он был...

— А зачем в лес-то пошел?

— Кто его знает? Пошел и пошел. Вас, умных, кто разберет, что в голове вашей делается? Приспичило — и пошел.

Но если Лукича такая версия устраивала, то Павла — ни на минуту.

Его следующий разговор состоялся с хирургом Варенцом, в больнице райцентра. Варенец к расспросам отнесся настороженно, отвечал неохотно, коротко и постоянно интересовался: «А вы почему спрашиваете?» И все же кое-какую информацию Павлу удалось из него выудить. Так, он узнал, что вскрытие трупа Десятникова делал очень пожилой и очень пьющий патологоанатом Бельский, которому поручали лишь самые простые случаи, а десятниковский как раз считался простым. Еще узнал, что в ту же смену работал санитар Василий.

Павел пошел в морг, к Василию. Задал свои вопросы ему. Но огромный дядька с мучнисто-бледным лицом лишь молча смотрел на него без выражения водянистыми голубыми глазами, то ли притворяясь глухонемым, то ли действительно им являясь.

К участковому Кочеткову требовался гораздо более тонкий подход. И Павел свой интерес искусно вплел в разговор о том, что в Москве, дескать, суетно, а у вас тут благодать, потому и едут люди от нас — к вам. Сработало. Кочетков рассказал ему о тех приезжих, которые появились в Покрово в последние годы. Упомянул, конечно, Бурова и Десятникова, со всем уважением, затем еще кого-то, но главное (и тут Павлу потребовалась вся его сила воли, чтобы не сделать стойку и не засверкать глазами) — упомянул участковый некую парочку, поименованную им «бандитскими рожами». Приехали они в Покрово в конце апреля, поселились у бабки Игнатъевны и какое-то время ходили по деревне, «шаркали глазами туда-сюда», на вопросы Кочеткова предъявили документы и ответили, что ищут покоя; возразить было нечего, и Кочетков от них отстал.

«А когда они уехали?» — спросил Павел. «Да где-то недели через две, — сказал участковый. — Ну да, точно. Как похоронили мы Десятникова, Илью Сергеича, так они и запропали. А вскоре и правда укатили, я сам их черный мерседес на дороге встретил. Я — в Покрово, они — прочь. Сходил к Игнатъевне — ага, говорит, выбыли насовсем».

Все сложилось. Павел, лихорадочно обдумывая то, что выяснил, пылал при этом разнообразными чувствами — гневом, ужасом, сомнением и почему-то обидой. «Так нельзя, так нельзя, — мысленно твердил он. — Разве в этом правда? Нет, не может быть, не верю...» Он не знал, что ему делать со всей добытой информацией. Вроде бы

напрашивался самый естественный ход: пойти в полицию. Но что-то держало Павла, образно — прямо-таки за горло железной рукой.

Ночью он не смог уснуть. Ворочался с боку на бок, ходил на кухню попить воды, сидел у окна, глядя во мглу, словно там можно было что-то разглядеть, снова ложился... Мысли блуждали по кругу, неизменно приводя его к единственному выводу.

Конечно, прямых улик у него не было. Но он хорошо помнил формулу «отсутствие доказательств не равно доказательству отсутствия». То есть даже при том, что улик не имелось, это не значило, что подозреваемый не был на месте преступления. «А он там был, господа присяжные, — думал Павел. — Он точно там был. Может, опосредованно, но был». Да, Павел допускал, что все зло совершили заезжие «бандитские рожки», но не сами же они придумали приехать в Покрово за сотни километров, чтобы убить какого-то незнакомого им доктора. Умысел мог быть лишь у одного человека, лишь у одного...

И Павел снова думал, снова ворочался в своей скрипучей кровати, вздыхал, пока рассвет не озарил его келью мягким, тихим светом. Тогда только мысли его замедлили ход, а потом растворились в зыбкой полудреме.



Несмотря на каникулы, в школе у Бурова было много дел. Все они в основном касались ремонта. На капитальный не было ни сил, ни средств, да он и не требовался. А насчет косметического договорились с учителями и родителями еще зимой. И вот теперь собирались в школе кто когда, в основном с утра, не поздно, и начинали красить, штукатурить, шпатлевать, белить. Заканчивали обычно к вечеру, когда на улице начинало смеркаться.

В пятницу разошлись рано, около шести. Буров распрощался у калитки с Нечаевыми и старшим Белкиным, всегда готовым помочь учителю, и только сделал несколько шагов по направлению к дому, как зазвонил его смартфон. Он посмотрел на экран и остановился. Сердце его ухнуло вниз. Он нажал кнопку ответа. «Здравствуй»... Тот момент, которого он ждал, наконец настал.

Закончив разговор, Буров снова зашагал к дому, но вдруг вспомнил про своего гостя. Павел в последнее время смотрел на него

как-то странно, встреч на кухне избегал, ни о чем не спрашивал и сам ничего не рассказывал. Буров воспринимал такую перемену в его поведении без эмоций. Ему было не до того. Он уже окончательно погрузился в беспокойство по поводу своего плана. Утихало оно только во время ремонтных работ в школе. А стоило остаться одному — и вновь накатывало это тягостное ощущение возможного провала. И следом всегда возникал вопрос: «И что тогда?»

Сейчас он почувствовал, что не готов наткнуться на взгляд Павла. Ему хотелось побыть в одиночестве. Подумать. Поэтому он свернул к полю и, не доходя до него, сел на ясень, поваленный бурей поздней осенью два года назад.

День выдался теплый, безветренный. Солнце освещало землю спокойным неярким светом. Небо было частично подернуто облаками, которые медленно плыли друг за другом. И все же, несмотря на обманчивую безмятежность, в воздухе, в самом цвете дня ощущалось приближение ненастья.

«Уже скоро, — подумал Буров, — скоро все кончится. Вся эта чехарда. И эти страдания... Поставлю точку. Может быть... И тогда...» Но что «тогда» — он понятия не имел. Откуда всплыло это «тогда» и зачем? Не будет никакого «тогда». Просто продолжится жизнь. И вряд ли в ней будут какие-то серьезные изменения.

Он вспомнил прошлогодний разговор на дне рождения второклассника Севы Чижова. Пригласил Бурова отец мальчика, Денис. Накануне им довелось вдвоем вытаскивать из заброшенного колодца собаку сторожа Лукича. Стоял март, ветер дул резкий, холодный. Оба замерзли и умаялись, пока удалось наконец подцепить веревочной петлей обезумевшую от страха псину. Когда наконец вытянули ее, она цапнула Дениса за руку и умчалась. Укус оказался глубокий. «Ах, ты ж тварь какая», — удивленно сказал Денис, рассматривая рану. Буров снял шарф и замотал ему руку. Потом сели в буровский фورد, поехали к Десятникову. Тот рану обработал, но велел сделать укол от бешенства. Найда эта, собака, была непонятного происхождения, привязалась к Лукичу как-то на дороге, да так и осталась с ним. Соответственно, он не мог ручаться за ее здоровье. Снова сели в фورد, поехали в райцентр, в поликлинику. А на обратном пути Денис и позвал Бурова на день рождения сына.

Сева, вихрастый, с узким светлым личиком, тоненький, как спичка, все вертелся на табурете, привставал и тянул шею, глядя в сторону

кухни, откуда должны были принести торт. Принесли. Выключили верхний свет. Восемь разноцветных свечек маленьким пламенем освещали лишь сам торт и руки матери. Сева набрал полную грудь воздуха и дунул изо всех сил. Три свечки задул за раз, остальные следом, попеременно. И засмеялся. Гости тоже засмеялись. Снова включили свет.

— Ну что, Сева, ты счастлив? — с улыбкой спросила мать. — Столько подарков!

— Сейчас — да, — ответил мальчик, кивнув.

— Только сейчас? — уточнил Буров, уловив недосказанность в Севином ответе.

— Я не могу быть счастливым всегда, — сказал Сева. — В мире слишком много несчастных людей. Очень много. Нельзя же быть счастливым, когда другие страдают.

— Приехали! — воскликнул Денис, уже немного пьяный. — Тебе всего восемь стукнуло! Откуда ты про страдания-то знаешь?

Сева на это ничего не ответил, коротко взглянул на отца, потом перевел взгляд на торт, уже нарезанный на куски, и снова засмеялся.

Через несколько месяцев, в конце лета, Сева утонул, купаясь в быстротечной Рытве, неглубокой, но коварной своими омутами и корягами на дне. А Буров и до этого, и потом все вспоминал его лицо, его взгляд и его слова в те несколько минут после задувания свечей, думал — а и правда, откуда ему знать? Сказал кто-то? Услышал по телевизору? Но понимал: нет, Сева действительно знал. Просто знал.

После гибели сына Денис, веселый симпатичный парень, как-то разом потух, словно вылетела из души часть жизни. С тех пор он иногда приходил к Бурову вечером, они сидели и пили чай, беседуя о чем-то малозначащем, а чаще — молча, лишь время от времени обмениваясь репликами. Однажды только Денис неожиданно спросил: «Как думаете, Максим Иваныч, почему?» Буров понял, но ответа у него не было, и он просто пожал плечами.

Сейчас он думал о Севе, и тот виделся ему так ясно, как будто только недавно сидел перед ним за первой партой. Он вспоминал его светлое лицо, светлые легкие волосы, большие ясные глаза, взгляд которых был то мягок, то отстранен, то весел, когда Сева играл со сверстниками, то словно пронизывал пространство насквозь. Да что пространство — человека пронизывал насквозь. Сева точно видел своим внутренним зрением что-то, невидимое другим.

При этом он все-таки был точно такой же ребенок, как остальные, среди которых попадались уже Бурову и философы, и творцы, но потом они подрастали, и вся эта дивная сущность куда-то испарялась. Дети превращались в подростков, по пути теряя нечто божественное. А может, оно просто покрывалось слоем знаний, опыта, а само так и оставалось там, в том месте, что называется душа? Ответа на этот вопрос Буров не знал. Но не сомневался, что внутренний мир Севы по мере взросления ничего бы не утратил, а только приобрел.

Он снова вернулся мыслями к звонку. Предпоследний кирпичик в шаткой стене его плана встал на место. Оставалось совсем немного. Проколов быть не должно. Все знают свои действия наизусть.

На его руку упала легкая капля. Он поднял голову. Свинцовый оттенок серого светлого неба сгустился. Полоска горизонта стала почти черной. Начался дождь.

Буров поднялся и пошел домой.



«Нет-нет-нет, — ожесточенно думал Павел, идя по опушке леса, постукивая себя по ноге сухой веточкой, — я еще возрожусь... возрожусь... Тьфу, как там? Начну возрождаться... Ну, карьера, ну, невеста... Все еще будет у меня. А вот Буров... Он-то что делает, а? Он-то что творит со своей жизнью? Нельзя же так...»

Мысли, волновавшие Павла последние дни, омрачились еще более после того, как он сложил в уме все кусочки пазла. И общая картина ошеломила его. Если раньше он только подозревал, то теперь был уверен. И в этой уверенности страдал так сильно, как не страдал от собственного фиаско. Буров был в его представлении особенный, не такой, как все; он монументом возвышался над остальными — не по росту, по значению. Прежде Павел считал, что до него бы хоть немного дотянуться — уже было б немалое достижение. И вот выяснилось, что этот, в его прошлом юношеском представлении, полубог, — всего лишь человек, не лучше других, а может быть, даже хуже. И Павел не понимал, как уложить в голове то, что он узнал, и как поступить с этим знанием.

Дома он доел пряники, выбросил пустой пакет в мусорное ведро и сел к окну. Запущенный буровский сад шелестел буйными кро-

нами; где-то чуть дальше, в стороне, дятел долбил клювом ствол дерева и гулкое эхо разносило этот равномерный стук по округе. Было десять утра. По нынешнему житию Павла — почти разгар дня. В прошлой жизни в это время он только приходил в офис, в новой — просыпался в шесть и к восьми уже отправлялся бродить по окрестностям: заходил в лес — недалеко, потому что опасался заблудиться; прохаживался по берегу реки, сидел по новообретенной привычке на траве у ручья, глядя на его неспешные чистые воды, посещал церковь, где стоял в сторонке, думая о своем, а напоследок шел в магазин и покупал продукты. Днем пил чай с пряниками, потом готовил ужин, для себя и для Булова. А уже к десяти вечера начинал зевать и плелся наверх, в свою комнатку, которая в первые дни после приезда показалась ему слишком тесной, с затхлым запахом отсыревшего дерева, а ныне воспринималась как уютный уголок с приятным ароматом древесины.

Жизнь здесь очень нравилась Павлу. И, как он считал, если бы не Булов, не его потрясающий в своем безумстве поступок, вскоре все столичные неудачи и потери утратили бы свой мрачный оттенок, и Павел смог бы оставить их в прошлом и попробовать начать все сначала. Он смог бы, в этом не было сомнений. Он уже сейчас видел всю свою историю в другом свете. Поражение, которое он потерпел, для него оказалось сокрушительным, ибо было первым в череде других жизненных событий, вполне приятных и позитивных. Он знал (и как мог забыть, лелея свой провал?..), знал, что все адвокаты проходят через неудачи, что самые честные просто продолжают борьбу. И уже начинал винить себя в том, что сдался и покинул поле боя без, собственно, боя. Да, дело повара он проиграл. Но были и другие дела, которым требовался тот, кто будет искать правду в нагромождениях лжи, добиваться справедливости и защищать невиновных. Павел был уверен сейчас точно так же, как он был уверен в юности, что способен на это, что, возможно, был рожден для этого. И собственная слабость в свете новых мыслей и нового миропонимания казалась ему жалкой.

Но он был готов все исправить. Только прежде следовало решить, как поступить с тем, что сделал Булов. «Правда, — думал Павел, — это, господа присяжные, не пиджак. Посадил пятно на лацкан — выбросил. Правда одна. Ее нельзя выбросить, перевернуть нельзя, не замечать ее нельзя. Правда превыше всего. И все перед ней равны».

На этой мысли он встал и решительно вышел. Улицы, как обычно в этот час, были почти пусты. Только дети наслаждались каникулами, бегая где-то у ручья — Павел не видел их, лишь слышал.

Кабинет участкового находился в здании почты, вход с противоположного торца. По случаю теплого дня дверь была распахнута настежь. Павел вошел. Кочетков говорил по телефону, сердито хмуясь. «Да не могу я! У меня участок — три деревни и два села! Куда мне отсюда за сто километров ехать?! Неуж сами своих пьяниц не можете утихомирить?» Увидев Павла, Кочетков жестом показал ему на стул, приглашая сесть. Павел сел.

Стены здесь красили, наверное, лет тридцать назад. Были они облезлы, грязно-желтого цвета, с запыленными старыми плакатами и крошечной фотографией Дзержинского, прикрепленной булавкой с краю карты района. Стол участкового был такой же древний, как три деревянных стула с дерматиновыми сиденьями и настольная лампа с некогда белым, а ныне серым от пыли абажуром матового стекла.

«Ну так посади его на пятнадцать суток! — советовал собеседнику Кочетков. — Авось притихнет».

«Эх, Максим Иваныч, Максим Иваныч, — горько подумал Павел. — Ну как же так?..»

Кочетков уже говорил «Ну, бывай... Ага... Супруге привет», — когда Павел вдруг встал и, потоптавшись несколько секунд, быстро вышел из кабинета.

— Пал Антоныч! — закричал участковый ему вслед.

Но Павел даже не обернулся. Он шагал в сторону школы, повторяя про себя: «Я вас прямо хочу спросить... Нет... Лучше: вы можете посмотреть мне в глаза и ответить?..»

На полпути он снова передумал, свернул в проулок и ринулся к церкви.

Там никого не было. Он обошел здание и обнаружил отца Акинфия на завалинке у стены, на солнечной стороне, понурого, с опущенными плечами, с закрытыми глазами. Вся его коренастая фигура словно обмякла под тихим теплым светом. Узловатые крестьянские руки с пигментными пятнами тяжело лежали на коленях. Павел заметил вдруг, что ряса его помята, стара, ткань местами лоснилась, истертая почти до дыр.

Прежде Павел, бестрепетный и энергичный, даже на миг не задумался бы, разбудил священника и задал ему свои насущные вопросы.

Но того Павла больше не было. Нынешний стоял возле цветущего куста шиповника, оглушенный предвечерней тишиной, смотрел на отца Акинфия, отчего-то испытывая острую жалость — к нему, к себе, к Бурову, ко всем, кто жил в этом мире, пытаясь не только выжить, а и что-то понять.

Несколько минут спустя Павел тихо отступил, вновь обошел церковь и вдоль поля двинулся по направлению к дому. Все было очень просто. И в то же время абсолютно непостижимо и неразрешимо.



В понедельник Буров закончил работу в школе в четыре и сразу отправился домой. Он хотел все сделать до возвращения Павла.

На кухне он заварил чай с мятой, нарезал лимон, приготовил пару бутербродов с сыром. Ему нужна была короткая передышка. Ночью он опять почти не спал, а ближе к утру вдруг провалился в такую тяжкую, глубокую дрему, что, проснувшись по будильнику, несколько минут лежал в полном оцепенении, не в силах пошевелиться.

В этом утреннем коматозном сне он видел Севу, видел агронома Ваню, почему-то играющего с собакой сторожа Лукича, еще каких-то людей, которых не знал. Все было сумбурно и неинтересно, но отчего-то вспомнилось сейчас. И он сидел, пил чай, смотрел в окно на сад, вяло перебирая в уме картинки своего странного сна. Хотелось спать.

Минут через двадцать, убрав на столе, он открыл навесной шкафчик и достал оттуда маленькую бутылку с целебным бальзамом, подаренную матерью Мирослава Белкина. В этот момент скрипнули ступени крыльца. Буров оглянулся и в окно мельком увидел белую футболку Павла. Хлопнула дверь. Павел вошел в кухню.

Он остановился в дверном проеме, прислонился плечом к косяку, сунул руки в карманы, наблюдая, как Буров складывает в пакет хлеб и помидоры. На его приветствие ничего не ответил.

— Можем поговорить? — минуту спустя спросил он.

— Конечно, — ответил Максим.

Павел резким движением выдвинул из-под стола табурет и сел, левой рукой ухватившись за сиденье, а локоть правой поставив на стол. Несколько мгновений он смотрел на Бурова в упор, чуть сощурился. Потом твердо сказал:

- Я все знаю.
- Ты о чем?
- Я знаю, что вы убили Десятникова.

Буров облокотился о холодильник, сложил руки на груди. Павел явно ждал ответа или какой-то реакции, но Буров просто молча смотрел на него.

— Я все понял, как только услышал здесь все эти разговоры... Десятников... Не самая распространенная фамилия. Да еще врач. Великий помощник, как его на суде тогда называли... И у меня...

Павел вскочил, прошелся по кухне взад-вперед, затем снова сел на табурет.

— У меня сразу мысль: а не тот ли это Десятников, который восемь лет назад насмерть сбил Катюшку, дочку Бурова? Вы простите, Максим Иваныч, я сейчас не буду особо тактичным. Не тот момент. Так вот, у одной женщины, Веры Пахомовой, портрет доктора стоит на комодe, мне местные сказали. Я зашел к ней. Действительно, есть портрет. А перед ним рюмка и кусочек хлеба. Все как положено... И я узнал его. Это он, Максим Иваныч, он. Тот самый Десятников. Я прав?

Буров не ответил.

— Я прав! Вам ли не знать?! Долго вы его искали? А? Потому что абсолютно и несомненно ясно: это *не* совпадение. То, что вы тоже оказались здесь. Это *не* совпадение. Прослеживается четкий умысел: найти Десятникова и приехать сюда, чтобы при первом удобном случае уничтожить гада!

Павел стукнул кулаком по столу. Сахарница подпрыгнула, крышка свалилась и покатилась по столешнице. Павел подхватил ее, поставил на место.

— Медведя приплели... Ну, неплохая идея. Говорят, медведь тут злой, опасный. Хотя люди его года три уже не видели. Но сошло. Медведь и медведь, кто не в курсе предыстории, даже не задумается: а чего это доктор в лес пошел? Никогда не ходил — и вдруг пошел. И медведя — вот поворот, а? — в этом лесу тут же встретил! Чудеса!

Павел усмехнулся.

— Ладно, зафиксировали как несчастный случай... Только есть тут кое-что, Максим Иваныч, кое-что, через что вы переступить не сможете: правда. Это вы убили.

Он замолчал. Молчал и Буров, продолжая смотреть на своего гостя прямо и спокойно. В наступившей тишине вдруг стало слышно

тиканье старых настенных часов, оставшихся от прежнего хозяина дома и уже месяца два как вставших.

— Я вас понимаю... — наконец, после долгой паузы, продолжил Павел чуть охрипшим голосом. — Что тут не понять?.. Ребенка пьяная сволочь убила... Помню эту трагедию. Все перевернулось тогда в вашей жизни. Отец говорил — пришел к вам однажды, вскоре после... А у вас в квартире вакуум. И вы в этом вакууме, ничего не слышите, ничего не видите... Год прошел — то же самое... Еще год — то же самое. И когда вы вдруг решили уехать из Москвы, мы были рады за вас. Отец сказал: «Неужели начал оживать?» Мы надеялись и верили в это. А все оказалось проще. Вы не собрали все силы, чтобы продолжать жить. Вы отомстить решили, так?

Павел покачал головой.

— Эх, Максим Иваныч... Как же так, а? Вы разве убийца? Вы человек. Зачем же вы черту переступили? Ведь это все, конец... Исправить уже ничего нельзя. Вы об этом подумали, когда месть свою вершили? Я как понял, что к чему, у меня вот тут... — Он приложил ладонь к груди. — Вот тут шторм начался. Девять баллов. Бушевало так, что кричать хотелось... Знайте, что вы не только Десятникова убили. Вы какую-то часть Паши Григорьева убили. И я не знаю, как вы можете спокойно жить... Детей учить как можете?.. Конечно, у вас мотив есть, не отрицаю. И очень веский мотив. Если б я вас в суде защищал, я бы столько доводов в вашу пользу привел... Камни бы заплакали! И судьи дали бы вам по минимуму, а то и вовсе освободили. Но я в данном деле не ваш адвокат. И я не на вашей стороне. Нет, Максим Иваныч. Есть правда. И она одна для всех. А в этом конкретном случае правда в том, что убивать нельзя. Нет оправданий для убийства. Человек ведь не бог, убить он может, а оживить нет. И следовательно, не имеет никакого права чью-то жизнь отнять. А вы это сделали. И неважно, сами или чужими руками. Это все равно убийство. Поэтому... — Павел прямо посмотрел на Бурова. — Поэтому я завтра же пойду в полицию... То есть к участковому пойду. И скажу, что Десятникова убили. Вы убили. И объясню, почему. А потом потребую эксгумации тела. Я все сказал. Теперь вам слово...

— Делай, что считаешь нужным, Паша, — тихо сказал Буров.

— Ну что ж...

Помедлив немного, Павел встал, бросил на Бурова долгий внимательный взгляд, потом повернулся и вышел. Буров услышал его

шаги по лестнице — Павел поднимался в свою комнату. Когда дверь за ним закрылась, Буров взял сумку и тоже вышел — из дома.



Уже начинало смеркаться. Шелестели кроны деревьев, продуваемые слабым прохладным ветерком. Под ногами Бурова трещали ветки. Как обычно, он шел по лесу, погруженный в свои мысли, не глядя по сторонам.

Как он мог упустить из виду, что Павел знает о той давней трагедии? Ведь он, кажется, даже был на суде. И, конечно, приехав в Покрово и узнав местные новости, он все понял. И был прав. Именно идея отомстить Десятникову дала Бурову силы продолжать жить. Сначала эта идея возникала в его голове лишь вскользь, между острыми и болезненными размышлениями о том, что случилось, как-то вдруг появляясь и так же вдруг исчезая. Со временем желание отомстить стало сильнее. А когда вышел срок и Десятников освобожден, Буров уже был готов к мести. Он позвонил старому армейскому другу, который ныне занимал большой пост в МВД, и попросил его выяснить местонахождение Десятникова. Друг сразу все понял и долго не соглашался. Но Буров давил на него так, как никогда в жизни ни на кого не давил. Мечь стала смыслом его опустевшей жизни. Другого смысла тогда у него не было.

Поиск бывшего заключенного — тайный поиск, «по своим каналам» — у друга из МВД занял несколько месяцев. Наконец он позвонил и сообщил адрес. Буров нашел на сайте недвижимости дом в деревне Покрово, купил его и уже через две недели покинул Москву.

«Молодец, Паша, — вдруг подумал он и улыбнулся. — Надо же, как быстро раскрутил дело».

Маленькая белка прошмыгнула прямо у его ног и, вскочив на одну из нижних веток дерева, помчалась вверх по стволу и вскоре исчезла в густой листве. Буров остановился. Закинул голову и посмотрел в небо. Старая боль вновь нахлынула, с прежней силой, перекрывая дыхание. Была ли где-то там, очень высоко и очень далеко, его Катя? Или ее не было больше нигде во всей вселенной? Все, что он учил и знал, вот уже восемь лет он хотел забыть. Ему были не нужны эти знания. Ему было нужно одно: чтобы дочь его не исчезла бесследно.

И снова вспомнился тот ноябрьский день...

Катя с мамой — женой Бурова Ниной — возвращалась из музыкальной школы. Как обычно — с Мансуровыми: Инарой, соученицей Кати по классу фортепиано, и ее бабушкой. Было семь вечера. Автобусная остановка. Женщины сидели, а девочки стояли в стороне, у закрытого киоска печати, болтая и разглядывая обложки детских журналов. Шел небольшой дождь. По мокрому шоссе мчались автомобили. Все произошло за пару мгновений: из потока машин внезапно вылетел красный «рено сандеро», сшиб девочек, врезался в киоск и перевернулся набок.

Все это позже рассказала Бурову жена. Накачанная успокоительными, она говорила медленно, глядя мимо него, в никуда, припоминая и беспрестанно повторяя ненужные подробности: «Ее беленькая шапочка прямо в грязь упала... В самое месиво... Ведь не отстирать теперь... Там же пух...». Вскоре Нина по настоянию матери легла в клинику неврозов. А через полгода, тихая и молчаливая, она так же тихо и молча ушла от Бурова, оставив почти все свои вещи, кроме нескольких предметов одежды.

Адвокат Десятникова, действительно назвавший его «великим помощником», на суде говорил об обстоятельствах трагедии: известный московский врач, кардиохирург, спасший сотни жизней, попал в банальную ситуацию — вернулся домой раньше, чем планировалось, и застал жену с любовником, своим учеником. На столе стояла наполовину опорожненная бутылка коньяка, пирожные и ваза с фруктами. Любовники, прикрывая наготу одеялом, настороженно смотрели на обманутого мужа. «Чего они ждали?! — вопрошал адвокат. — Того, что интеллигент, врач в третьем поколении, начнет с ними драться? Устроит скандал?» Десятников, стоя в ошеломлении перед кроватью, взял бутылку и в несколько глотков допил коньяка. Аккуратно поставил пустую бутылку на стол и вышел. А далее — сел в свою машину и поехал обратно в больницу.

Сам он почти ничего не помнил, потому что, будучи непьющим, от такой дозы коньяка опьянел очень сильно. По словам судмедэксперта — был практически невменяем. О том, что убил двух девочек, узнал только к вечеру следующего дня. Не мог поверить. Кричал.

Все возможные случайности, совпадения, вероятности сошлись в тот день и в тот момент в одну роковую неизбежность. «Илья Сергеевич не

убийца. Не рецидивист. Стаж вождения — тридцать два года, и ни одного штрафа! Ни одного! Но произошла трагедия...» Да, у Десятникова был хороший адвокат.

Все это, думал Буров, сейчас, по прошествии восьми лет, должно было вспоминаться уже без того мучительного отчаяния, которое когда-то терзало его ежеминутно. Но ничего не изменилось. Разве что острота ослабла. А ощущение несправедливости того, что произошло, до сих пор оставалось таким же жгучим, до сих пор не давало покоя. И, Буров понимал, так теперь будет всегда. С этим он жил и будет жить до самого конца.

Он подошел к егерской сторожке, негромко постучал. За дверью послышались тихие шаги.

— Это я, Илья Сергеевич, — сказал Буров. — Откройте.



В сторожке, которую мизантроп Федор Лобанов построил собственными силами в глубине леса, подальше от людей, была спартанская обстановка: громоздкий табурет у маленького окошка, второй такой же — у стола в центре комнаты, узкий деревянный топчан в углу у стены и небольшой шкаф, как и вся остальная мебель — тоже сделанный своими руками.

За время своего вынужденного заточения Десятников, худощавый от природы, еще больше похудел. Старый свитер висел на нем мешком. Складки возле уголков рта стали глубже.

Открыв дверь, он, прихрамывая, прошел к окну и сел на табурет. Буров заметил, что большую часть времени он проводит именно там, сидит и смотрит в окошко, снаружи наполовину занавешенное большой еловой лапой. Что он мог там видеть? Клочок леса, неподвижный и неизменный, и больше ничего. Или в той густой зелени представлялись ему тени прошлого? На подоконнике стояла егерская большая алюминиевая кружка, из которой Десятников пил чай. Рядом лежала почти пустая пачка печенья — из набора продуктов, принесенных Бутовым в прошлый раз.

Буров вытащил из сумки пакет и поставил его на стол, сел.

— Ну что, Илья Сергеевич, время пришло, — сказал он.

— Когда? — тихо спросил Десятников.

— Завтра. В шесть двадцать утра Кирилл будет ждать вас на шоссе. Там, где договорились. Не опаздывайте, он не сможет стоять больше пятнадцати минут. Лучше придите пораньше и посидите где-нибудь... В кустах у дороги.

Десятников кивнул.

— В пакете продукты и бутылка бальзама. Если станет холодно — глотните.

Помолчав, Десятников проговорил:

— Не заслуживаю я спасения, Максим Иванович... Тем более вашей помощи не заслуживаю.

— Я помогаю не вам. И давайте обойдемся без этих разговоров. У нас есть цель. К ней мы стремимся. Это все.

— Думаете, получится?

— Почему же нет?

— Меня разоблачат. Рано или поздно...

— Илья Сергеевич, вы выйдете из машины Кирилла в тысяче километров отсюда. Затеряетесь в крупном населенном пункте. Снимете комнату. Придете в больницу, скажете, что вы врач. На все вопросы ответ один: на вас напали, ударили по голове. Документы пропали, остался только паспорт...

— Я все это помню.

— Так в чем проблема?

— Я не очень похож на фото в паспорте.

— Теперь похожи. Вы за месяц сбросили килограммов десять, вылитый бомж... Все будет нормально.

Десятников с сомнением покачал головой.

— Ну, что еще? Конечно, план неидеальный, но в целом вполне пригодный. У вас есть настоящий паспорт. Фамилия другая, зато имя совпадает, не придется к новому привыкать. Врач Десятников умер, теперь людей станет лечить Кузнецов. Он, хорошо, родом был из Москвы, там таких сотни, никто не будет искать среди них вас и ваш диплом. Не беспокойтесь понапрасну.

— Я бы хотел вернуться в тот день... Чтобы все изменить...

— Прошу вас, — помрачнев, сказал Буров, — не трогайте эту тему.

Он встал. Десятников тоже поднялся со своего табурета. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Глаза Десятникова за стеклами новых очков, купленных ему Буровым вместо старых, казались огромными.

— Простите меня, Максим Иванович, — сказал он.

Буров не ответил. Он подошел к двери, взялся за железную скобу ручки. Обернулся последний раз.

— Только идите осторожно, чтобы не наткнуться на деревенских. Ягодный сезон, сами понимаете.

Десятников кивнул. Буров вышел, плотно закрыв за собой дверь.

•

Сумрачный лес был тих и покоен.

Возвращаясь домой, Буров думал о прошлом отстраненно, спокойно.

Он переехал в Покрово в начале осени. Никакого плана мести у него не было. Как правильно понял Павел, он хотел дожидаться удобного случая и убить Десятникова. А после этого — и тут Павел ошибся — собирался сдаться.

Позже Максим неоднократно думал о том времени, когда он жил как в тумане, раз за разом прокручивая в уме один и тот же кадр из будущего: он достает нож и вонзает в грудь доктора. И понимал, что не знает — и уже никогда не узнает, — смог бы он это сделать или нет.

Шли дни. Буров работал в школе, все больше увлекаясь уроками и общением с детьми. К зиме мысли о мести постепенно растворились в повседневной покровской жизни. Он все еще думал: «Придет день...» Но уже понимал: не придет. О Десятникове говорили в деревне много, и только хорошее. Буров узнал, что летом он спас Сережу Беляка, слетевшего с велосипеда и распоровшего живот о сук (Сережа с гордостью показывал учителю огромный, все еще багровый шрам), а в последний день октября откачал мать Мирослава Белкина, упавшую в магазине с очередным инфарктом. Он узнал, что Десятников работал в районной больнице шесть дней в неделю, а в седьмой принимал в Покрово всех и с любой хворью. Естественно, бесплатно. Его вызывали ранним утром, поздним вечером, ночью — он вставал и шел.

Однажды Буров встретил Десятникова на дороге. Тот узнал его. Опешил. Замер. Хотел что-то сказать, но Максим, не замедляя шаг, поднял ладонь, останавливая его, и прошел мимо. С тех пор они

просто сосуществовали в одном месте, не пересекаясь и не общаясь; любые их пути были параллельны друг другу.

А полгода назад Бурову позвонил друг из МВД. Как бы между прочим он упомянул, что после шестилетней отсидки освобожден криминальный авторитет Руфат Мансуров по кличке Мансур — отец Инары, погибшей вместе с Катей Буровой. «Будет мстить, — сказал друг. — Он уже начал искать его. И поверь мне, когда найдет — этот человек умрет не сразу...»

Буров поначалу это известие постарался забыть. Какое ему дело до того, что будет с Десятниковым? Другой отец сделает то, что не сделал он. Но чем дальше, тем больше точила его мысль о том, что...

Он вышел на опушку. Недалеко был его дом. Максим видел его. Видел свет в окне комнаты Павла. Он оглянулся на лес. Почти стемнело. Солнечный свет угасал на горизонте. В огромном пространстве темного неба едва светлели перистые облака. «Все получится, — подумал он. — Осталось всего несколько часов».



В доме было тихо. За окном едва слышно шуршали листья деревьев. Максим лежал в своей кровати, почти не надеясь уснуть. Его план был исполнен, но покоя это не принесло. Наоборот. Какая-то тупая боль тлела у сердца, то разрастаясь, то угасая. Он явственно чувствовал, как исчезает жизнь, здесь и сейчас, каждый следующий миг превращая в прошлое.

За два дня до того, как Покрово потрясло известие о гибели доктора Десятникова, в райцентре, у железнодорожной станции «Сортировочная», на путях подрались трое бомжей, имевших постоянную прописку на привокзальной площади. Подрались жестоко; обходчик пути, бывший неподалеку, рассказывал, что даже рычали, как звери. В запале, а еще потому, что время было позднее, темно, не заметили приближающегося поезда, вывалились клубком прямо под колеса. Двое погибли сразу, третий умер в больнице на следующий день. Из двоих погибших одного размолотило в куски, а второго зацепило и протащило по насыпи сколько-то метров. Вот этот второй, известный в райцентре Илюшка Кузнецов, бомж примерно пятидесяти лет, попал в морг в смену санитаря Василия. Так и начала складываться картина.

Василий, маленькую дочь которого спас Десятников, проведя ей сложную многочасовую операцию, уже с месяц ждал подходящего трупа. Никто не думал, конечно, что подвернется он так скоро. Разрабатывался другой, более сложный вариант плана, но не пригодился. А пора было действовать — посланцы Мансура уже приехали в деревню и ходили кругами вокруг дома Десятникова, так что тот, по предложению Бурова, несколько дней не возвращался из больницы, ночевал там.

Илюшкино тело пострадало сильно, а от лица ничего не осталось. Ростом и сложением он был в точности как Десятников. Буков, мучаясь от своего цинизма, все-таки подумал: «То, что надо». Василий, ничем не мучаясь, степенно проговорил по телефону: «То, что надо». Десятников передал ему пакет со своей повседневной одеждой. Василий напялил ее на труп Илюшки. Паспорт погибшего, спрятанный под рваной подкладкой его старой куртки, он прибрал. Хотя и грязный, замусоленный, а это был настоящий документ, мог пригодиться доктору.

Ночью Буков приехал в райцентр. Вдвоем с Василием они затащили труп в машину. Свалить все на медведя в голову пришло случайно — в школе Буков услышал, как ребята рассказывали друг другу байки про дикого шального шатуна.

Подъехали к самому лесу, заволокли тело к малиннику и там оставили. Десятников к этому времени уже сидел в егерской сторожке. Туда его привел племянник егеря Денис Чижов — отец Севы.

Оставалось ждать звонка Кирилла. Бывший ученик Букова, Кирилл бросил университет на втором курсе из-за несчастной любви, жизнь его пошла вкривь и вкось, и вот уже десять лет он ездил по стране за рулем большегруза. Буков ценил парня за ум, сдержанность и правильный мужской характер, все годы не терял с ним связи, а когда понадобилась помощь, позвонил ему.

В этом аспекте все тоже, на первый взгляд, укладывалось в общий план. Кирилл проезжал через их район довольно часто и к тому же уже с неделю был без напарника, который лежал в больнице с тяжелой язвой, так что можно было без проблем взять на борт таинственного пассажира. Но существовал один изъян: не от Кирилла зависело, когда он в следующий раз поедет в сторону Покрово.

И конечно, тут все и застопорилось. Начальство выдавало Кириллу путевки куда угодно, только не в нужном направлении. Буков, как

фельдмаршал, а проще говоря, зачинщик и организатор, принял единственно возможное решение: ждать. Вот и сидел Десятников в лесу, в сторожке, питаюсь пайками, которыми раз в несколько дней снабжал его Буров. Ждал.

Максим не боялся эксгумации трупа. Что там можно было найти? Никто Илюшку не убивал, погиб он в результате несчастного случая. А за сутки, которые тело пролежало в лесу, его потерзали лесные звери, так что теперь, более месяца спустя, вряд ли кто-то мог бы установить истинную причину смерти. И тот факт, что именно Десятников сбил насмерть дочь Бурова, тоже не являлось доказательством для выводов Павла. Оказались в одной деревне? Случайное совпадение. Пусть докажут обратное. При самом нежелательном раскладе событий расследователи могли установить, что труп не Десятникова. Но и что с того? Казус — да, но какое отношение имел к нему учитель? Никакого. Главное — чтобы в этом случае никто не стал искать настоящего Десятникова...

Более всего ему сейчас было жаль Павла. Парень жаждал правды, но Буров никак не мог ему помочь.

В середине ночи вдруг поднялся ветер. Он трепал деревья, завывал и свистел. Буров, который уже почти провалился в бездну сна, снова вынырнул в явь, сел на кровати, посмотрел в заоконный мрак. «Осталось совсем немного», — снова подумал он. Все сложилось так, как было задумано. Через неделю Кирилл позвонит ему и расскажет, как прошла поездка.

Было уже около трех часов, когда Максим наконец уснул. В этом сне Катя стояла на краю поля, у кустов донника, и ждала его. Второклассница в голубом платье, с тугими косичками, с веселой улыбкой. Именно такой он видел ее в последний раз восемь лет назад. Он пошел к ней, все ускоряя шаг, раскинув руки. Большой отец. С сильными руками и широкими плечами. Он мог защитить ее от любой беды, от любого врага. Не было в мире ничего и никого сильнее его.

Маленькая фигурка вдруг стала таять. Максим ринулся к ней, упал, а когда поднялся, ее уже не было. Он посмотрел вверх. Солнечный свет ослепил его. Он закрыл глаза ладонью. В груди была странная пустота, гулкая и бездонная. Он постоял немного, в тишине различая лишь звук легкого колыхания травы. Потом услышал урчание мотора. Обернулся. По полю ехал трактор. В кабине сидел Десятников. «Илья Сергеевич, вы почему уехали?! — с упреком

сказал Максим. — Мы же договорились — утром! А сейчас ночь». Десятников показал пальцем на небо и ответил: «Какая же это ночь? Солнце — видите? А ночи и нету».

Буров проснулся и пару секунд не мог понять, действительно ли он слышал шум мотора или это ему приснилось. Он встал, вышел на крыльцо. Машины Павла во дворе не было. Буров вернулся в дом, поднялся по лестнице на второй этаж и тихо постучал в дверь. Никто не ответил. Он приоткрыл дверь, включил свет. В комнате было чисто и пусто. В приоткрытую дверь шкафа Буров увидел пустые полки.

Он постоял немного посреди комнаты, опустив голову.

Потом посмотрел в окно. Начинало светать.



Десятников вышел из сторожки на рассвете. До шоссе через лес напрямую было идти около полутора часов. Он учел свой возраст и больную ногу и заложил два.

Было еще довольно темно. Илья Сергеевич не мешкал, но все равно двигался медленно, освещая себе путь маленьким светодиодным фонариком, который принес ему Буров, узнав, что сотовый у Десятникова допотопный, способный только на звонки и смс. По этой же причине Буров снабдил доктора навигатором, поскольку не надеялся — и правильно делал, — что тот найдет дорогу к месту встречи с дальнобойщиком Кириллом самостоятельно. Так и шел сейчас Десятников — в одной руке фонарик, в другой навигатор, за спиной брезентовый рюкзак; на вид — опытный человек, а в реальности... Он и сам уже не знал, кто он в реальности.

Он вспомнил тот страшный день, низвергнувший его с вершин прекрасной, яркой и полной жизни в черную бездну, откуда уже не было спасения. Две девятилетних девочки! Разве можно после этого жить? Разве он, Илья Десятников, мог после этого жить? Но почему-то жил... Потом суд. Глаза их родителей. Эти взгляды жгли его ежесекундно, не только в зале суда. Везде. Он жил с этими взглядами, просыпался и засыпал, словно под негаснущим светом лагерьных прожекторов.

Поначалу он сломался. Как тогда казалось — бесповоротно. Но прошло время. Жизнь в колонии, простая, однообразная, постепенно

примирила его с мыслью, что нельзя ничего изменить, нельзя исправить того, что сделал в минуты безумия. Он ничего себе не простил и прощать не собирался до конца дней своих. Он замкнулся в себе и почти не разговаривал, каждую ночь надеясь утром не проснуться.

Однажды в колонии совершил попытку суицида осужденный, молодой парень. Охранник вытащил его из петли, что было несложно — парень пытался удавиться при помощи веревки, привязанной к ручке двери. Десятников не сразу, но привел его в чувство. В те минуты в нем пробудился прежний, врач, способный ради больного на любые подвиги. Жалкий человечек, каковым он ощущал себя неизменно все это время, на те же минуты неожиданно испарился, бесследно, как будто его и не было. Но поскольку он все-таки был, то спустя каких-то полчаса после спасения суицидника вернулся.

И все же с того дня Десятников начал постепенно восстанавливаться. Он знал, что никогда уже не вернет ни свою прежнюю жизнь, ни прежнего себя. Но он мог еще принести пользу. Он мог еще спасти и исцелять. Так и вышло: к нему потянулись люди, которым требовалась его помощь. Осужденные, охранники и как-то даже начальник колонии, на собственной машине увезший его на бешеной скорости к себе домой, где в панике рыдала его жена, а на диване задыхался и синел трехлетний сын. И каждый раз в таких ситуациях жалкий человечек исчезал, а позже всегда возвращался.

Выйдя на свободу, Илья Сергеевич в тот же день купил в газетном киоске у железнодорожной станции атлас, развернул его, достал карандаш, закрыл глаза и ткнул острием грифеля в карту России. Открыл глаза... И слабо улыбнулся. Эту область он знал. Где-то там была деревня, о которой ему рассказывал дед. Деревня, где родилась его прапрабабка. Сам Десятников там никогда не бывал. Значит, пришло время.

Он купил билет на поезд, в общий вагон. Через двое суток пути с одной пересадкой он прибыл в райцентр. А там сел на автобус и доехал до деревни Покрово.

И вот ему снова предстоял дальний путь. И новая жизнь в новом месте с новыми документами. Буров прав: Илья Десятников официально умер, но его дело продолжит Илья Кузнецов.

Ему послышался вдалеке, впереди, треск веток. Он остановился, замер, прислушиваясь, но было тихо. Десятников осторожно двинулся дальше.

Новая жизнь... Он не знал пока, под силу ли ему снова начать все сначала. Он не хотел прятаться. Он так и сказал Бурову, когда тот пришел к нему и сообщил о том, что его ищет бандит, отец второй девочки, Инары. «Я не боюсь смерти, Максим Иванович. Я ее даже жду». Буров посмотрел на него хмурым взглядом из-под сдвинутых бровей, проговорил: «Может быть. Но не такой...» И Десятников понял. Понял и согласился бежать...

Он снова услышал треск, потом шорох... Уже гораздо ближе. Остановился, светя фонариком и вглядываясь в полутьму леса. И только собрался идти дальше, как отчетливо увидел возникшую в тусклом свете огромную медвежью морду с маленькими карими глазками. Раздался негромкий рык.

Ужас охватил Илью Сергеевича, на мгновение сковал все тело. Он попятился, споткнулся, упал. Гигантская тень нависла над ним. Пасть раскрылась, обнажив желтоватые клыки. К носу зверя прилип крошечный зеленый листочек.

Зеленый листок с коричневыми крапинками. Это было последнее, что он увидел.

